

Светлана Бестужева-Лада



**ЛЮДИ ИСКУССТВА**

Светлана Бестужева-Лада

**Люди искусства**

«Издательские решения»

**Бестужева-Лада С.**

Люди искусства / С. Бестужева-Лада — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-745934-5

**НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ  
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН  
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** Сборник миниатюр о жизни и судьбе творческих  
людей разных времен и разных стран. Поэты, писатели, актеры, балерины...  
Путь в бессмертие.

ISBN 978-5-44-745934-5

© Бестужева-Лада С.  
© Издательские решения

## Содержание

Герой не своего времени	6
Первостепенный талант	16
Воронежская ласточка	29
Его стихов пленительная сладость	43
Мечта о пуле в сердце	55
Одинокий Гоголь	67
Конец ознакомительного фрагмента.	69

# **Люди искусства**

## **Светлана Бестужева-Лада**

© Светлана Бестужева-Лада, 2016

ISBN 978-5-4474-5934-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Герой не своего времени

Бывают люди, настолько опередившие свое время, что только спустя десятилетия (если не столетия) потомки начинают понимать, какая звезда мелькнула на небосклоне прошлых лет. Так произошло с Александром Сергеевичем Грибоедовым, одним из образованнейших людей своего века, только волею случая не избравшего военную стезю и только случайно же ставший дипломатом, что привело его к трагической гибели.

«Взгляни на лик холодный сей,  
Взгляни: в нем жизни нет;  
Но как на нем былых страстей  
Еще заметен след!  
Так ярый ток, оледенев,  
Над бездною висит,  
Утратив прежний грозный рев,  
Храня движенья вид».

Эти стихи Баратынского традиционно называются «Надписью к портрету Грибоедова». Так это или нет – судить трудно, но эти строки очень точно передают образ, загадочный для его современников и, по существу, оставшийся неразгаданным до конца и по сей день.

Три факта, всего три составили славу этого необыкновенного человека. Комедия «Горе от ума», давным-давно разошедшаяся на афоризмы и не уступающая по уровню талантливости ни одному из современных Грибоедову драматургов. Женитьба на юной и прекрасной грузинской княжне Нине Чавчавадзе, чья любовь вошла в легенды. И трагическая гибель в Персии, где Александр Сергеевич выполнял дипломатическую миссию.

Оказывается, этого вполне достаточно для того, чтобы обрести бессмертие. И все-таки потомки неблагодарны: на один уровень с Пушкиным и Лермонтовым Грибоедова никто никогда не ставил. Потому, что не был «гоним» властями? Был, и, кстати, суровее вышеназванных поэтов: при жизни автора «Горе от ума» не было поставлено ни в одном из театров.

Или потому, что его любовь не давала повода для сплетен и пикантных слухов? Ведь женщина, тридцать лет хранящая верность мертвому мужу, не позволяет писать многотомные труды о ее «моральном облике». Это – неинтересно.

Или потому, что гибель на чужбине от рук обезумевшей толпы фанатиков не столь «романтична», как смерть на дуэли? Тогда это несправедливо. Грибоедов погиб, защищая интересы России, для которой, кстати, сделал много больше всех российских поэтов вместе взятых.

Так почему же почти забыт? Кто знает... История – дама капризная и неблагодарная, а людская память вообще не подчиняется никаким законам логики.

Грибоедов родился в Москве 15 января 1795 года в семье, не блиставшей ни родовитостью, ни богатством (как, кстати, и Пушкин). Но в отличие от «солнца русской поэзии» получил прекрасное образование: сначала домашнее, на которое родители не жалели средств и приглашали в гувернеры образованных иностранцев, а в учителя – университетских профессоров. Новое – александровское – время требовало и новых людей, прежде всего, людей высокообразованных. Так что следующим шагом был Университетский Благородный пансион, а затем и университет.

Студентом Грибоедов стал в одиннадцатилетнем возрасте, что и тогда было редчайшим исключением. Объяснить это можно только блестящими дарованиями и прекрасной предварительной подготовкой. В Грибоедове рано сказалась склонность к литературе и при поступ-

лении в Университет он выбрал Словесное отделение тогдашнего философского факультета. Через два с половиной года он уже был произведен в «кандидаты словесных наук», и получил соответствующий аттестат. Этого было достаточно, чтобы начать государственную службу. Но четырнадцатилетний кандидат наук продолжил образование на юридическом факультете, став через два года обладателем соответствующего аттестата по юриспруденции.

Дважды кандидат наук в шестнадцать лет! Это казалось невероятным, но... Грибоедов не собирался останавливаться на достигнутом и вознамерился заняться математикой и естественными науками. Реализации этих планов помешала война 1812 года и закрытие в связи с этим Университета.

Не преувеличивая, можно сказать, что Александр Грибоедов был одним из образованнейших людей своего времени. К тому же он очень рано попробовал себя в литературе, но был, по-видимому, чрезмерно строг к своим произведениям: не дошедшая до нас пародия на трагедию В.А.Озерова «Дмитрий Донской» вызвала самые восторженные отклики его товарищей и профессоров.

Но «книжным червем» Грибоедов отнюдь не был, хотя по образованности превосходил всех своих сверстников и в литературе, и в обществе. Началась война с Наполеоном, и Александр, к неопишному ужасу и недовольству своей родни, записался волонтером в полк графа Салтыкова. Без лишнего пафоса он принял участие в национальной обороне и только стечение обстоятельств (пока формировался полк, Наполеон покинул Москву, а затем и Россию) помешало ему достойно проявить себя на поле битвы. Но Грибоедов не вернулся в светскую жизнь Москвы: он предпочел чиновничьей карьере малопривлекательную кавалерийскую службу в гусарском полку, в глухих закоулках Белоруссии и Литвы.

Там он провел три с лишним года, первоначально очарованный романтикой военной службы, а затем постепенно осознавая, что эта среда – не его, и что нужно возвращаться в более высокие и культурные слои общества. Но военная служба навсегда оставила свой отпечаток на характере Грибоедова, да и герои многих его произведений имели своими прототипами бывших армейских товарищей.

Я не оговорила: именно многих произведений. Грибоедов писал стихи, сочинял и переводил пьесы, опубликовал в «Вестнике Европы» несколько публицистических статей, причем, в отличие от Пушкина, а затем и Лермонтова не стремился укрыть несовершенство первых опытов за псевдонимами.

Но и становиться «профессиональным» поэтом или писателем Грибоедов не собирался: саркастический и несколько желчный склад ума подсказывал ему всю ненадежность такого пути, где все зависит от случая и вкусов капризной публики. В 1816 году Александр вышел в отставку, переехал в Петербург и поступил в коллегию иностранных дел, благо, ко всему прочему, блестяще владел несколькими языками – французским, немецким, английским и итальянским. И это в то время, когда, по словам Пушкина, все «учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь».

Переезд в Петербург имел важное значение для Грибоедова; после начинавшегося уже, по его словам, одичания в глуши Белоруссии и Литвы, он не только возвратился снова в культурную жизнь, но вошел в такой круг развитых, благородно мыслящих и любящих родину людей, которого до той поры он и не ведал. Начиналась лучшая пора александровского царствования, и прогрессивные умы стремились во что бы то ни стало порвать с рутинной и застоем и грезил о светлом будущем. К ним рано примкнул и Грибоедов, только что вступивший и в чиновничий мир, и в петербургский большой свет, и в закулисные уголки театра (куда манили его и сердечные увлечения, и любовь к сцене), и в круг литераторов.

Но и здесь уже здесь проявлялась та независимость, с которой Грибоедов впоследствии занял место среди главных направлений литературы, заявляя, что «как живет, так и пишет свободно». Он появлялся и в свете, где его меткое, но холодное и строгое остроумие удивляло

и смущало, внушая собеседникам ложное представление об озлобленности его ума, – по свидетельству Пушкина, мешая им разгадать в нем необычайно даровитого, быть может, великого человека. Действительно, Грибоедов настолько опередил свое время, что даже лучшие умы среди его современников не в состоянии были постигнуть всей многоплановости и сложности этого человека.

Еще одной характерной чертой Грибоедова была скрытность – он ничего и никогда не делал напоказ и избегал скандальных ситуаций. Никто не подозревал, насколько тесно в то время он сблизился с декабристами – Одоевским, Чаадаевым и Рылеевым. Никто и никогда не узнал имя той женщины, которая вызвала первую страстную любовь Грибоедова, и с которой его безжалостно разлучили из-за досадного недоразумения: Александр был секундантом на одной из великосветских дуэлей.

В поединке из-за женщины – знаменитой балерины Истоминой – участвовали Шереметьев и граф Завадовский. Вторым секундантом был Якубович. Шереметьев был смертельно ранен, а обстоятельства поединка вызвали много толков в обществе. При этом Якубович сумел повернуть дело так, что главным виновником трагедии оказался Грибоедов. Александр Бестужев-Марлинский, известный писатель-декабрист, впоследствии близкий приятель Грибоедова, долго намеренно избегал личного знакомства:

«Я был предубежден против Александра Сергеевича, – писал он в своих воспоминаниях. – Рассказы об известной дуэли, в которой он был секундантом, мне переданы были его противниками в черном виде».

Вместо ссылки влиятельная родня Грибоедова добила его «почетного назначения» на дипломатическую должность секретаря посольства... в Персии. Словно судьба устроила генеральную репетицию последующих трагических событий.

Впрочем, о переговорах своих по поводу назначения в Персию, Грибоедов не без юмора писал своему другу Бегичеву:

«Представь себе, что меня непременно хотят послать – куда бы ты думал? – В Персию, и чтоб жил там. Как я ни отнекиваюсь, ничто не помогает; однако я третьего дня по приглашению нашего Министра был у него и объявил, что не решусь иначе (и то не наверно), как если мне дадут два чина тотчас при назначении меня в Тегеран. Он поморщился, а я представлял ему с всевозможным французским красноречием, что жестоко бы было мне цветущие лета свои провести между дикообразными азиатцами, в добровольной ссылке, на долгое время отлучиться от друзей, от родных, отказаться от литературных успехов, которых я здесь вправе ожидать, от всякого общения с просвещенными людьми, с приятными женщинами, которым я сам могу быть приятен (не смейся: я молод, музыкант, влюбчив и охотно говорю вздор, чего же им еще надобно?), словом, – невозможно мне собою пожертвовать без хотя несколько соразмерного возмездия.

– Вы в уединении усовершенствуете ваши дарования.

– Нисколько, В. С., музыканту и поэту нужны слушатели, читатели; их нет в Персии...»

Грибоедов приехал в Тегеран в марте 1819 г., но почти сразу же вынужден был отправиться в длительные инспекционные поездки по стране. Окончательно он обосновался в Тебризе, где в полном затишь «дипломатического монастыря» Грибоедов провел значительную часть своей первой службы на Востоке. Обязанности были несложные, но окружение – достаточно убогим: ни русские сослуживцы, ни иностранные дипломаты не могли понять запросов и разнообразных интересов Грибоедова.

Он ушел в себя: то усиленно занимался восточными языками (персидским и арабским), то читал, или же с непонятной для него самой легкостью и плодовитостью работал снова над давно задуманной комедией, удивляясь, что там, где у него нет никаких слушателей, стихи так и льются. В Тевризе были вчерне окончены первые два акта комедии, в ее третьей и последней редакции.

Время от времени Грибоедов совершал деловые поездки в Тифлис; однажды он вывез из Персии и возвратил на родину целую толпу несчастных, едва прикрытых лохмотьями русских пленных, несправедливо задержанных персидскими властями. Это неустрашимо выполненное предприятие обратило на Грибоедова особенное внимание генерала Ермолова, едва ли не единственного человека, сразу разгадавшего в нем редкие дарования и оригинальный ум.

Ермолов добился, наконец, назначения Грибоедова секретарем по иностранной части при главнокомандующем на Кавказе. Первая «персидская ссылка» закончилась, но Грибоедова ожидало в Тифлисе новое испытание. Сосланный за участие в роковой петербургской дуэли на Кавказ, Якубович, затаивший обиду, стал немедленно хлопотать об устройстве новой дуэли – на сей раз с самим Грибоедовым. Для этого он заручился поддержкой будущего наместника России на Кавказе Н. Н. Муравьева. Именно он взялся устроить дело так, чтобы о нем не проведало начальство.

Через три дня после приезда Грибоедова в Тифлис в уединенном месте дуэлянты встретились. Условия поединка были очень тяжелыми: шесть шагов между барьерами. Сохранился каким-то чудом подробный рассказ об этом поединке в дневнике Муравьева:

«Мы назначили барьеры, зарядили пистолеты и, поставивъ ратоборцевъ, удалились на н; сколько шаговъ. Они были безъ сюртуковъ. Якубовичъ тотчасъ подвинулся къ своему барьеру см; лымъ шагомъ и дожидался выстр; ла Грибо; дова. Грибо; довъ подвинулся на два шага; они простояли одну минуту въ семь положеніи. Наконецъ, Якубовичъ, вышедши изъ терп; нія, выстр; лиль. Онъ м; тиль въ ногу, потому что не хот; ль убить Грибо; дова; но пуля попала ему въ л; вую кисть руки. Грибо; довъ приподнялъ окровавленную руку свою, показаль ее намъ и навель пистолеть на Якубовича. Прим; тя, что тот м; тиль ему въ ногу, онъ не захот; ль воспользоваться предстоящимъ ему преимуществомъ: онъ не подвинулся и выстр; лиль. Пуля пролет; ла у Якубовича подъ самымъ затылкомъ и ударила въ землю; она такъ близко пролет; ла, что Якубович полагааль себя раненымъ: онъ схватился за затылокъ, посмотри; ль свою руку, однако крови не было. Грибо; довъ посл; сказалъ намъ, что онъ ц; лился сопернику въ голову и хот; ль убить его. Раненаго положили въ бричку, и все отправилось ко мн;. Тотъ день Грибо; довъ провель у меня; рана его не опасна была.. Дабы скрыть поединокъ, мы условились сказать, что мы были на охот;, что Грибо; довъ съ лошади свалился и что лошадь наступила ему ногой на руку...»

Для Грибоедова дуэль имела только одно, но крайне неприятное последствие: замечательный музыкант, он уже никогда больше не садился за рояль. Ходили слухи, что Якубович искалечил руку Грибоедову умышленно, но это маловероятно, учитывая несовершенство конструкции пистолетов того времени. Само попадание в противника уже можно было считать удачей, так что красивые легенды о «сознательном убийстве» на дуэлях Пушкина и Лермонтова – не более чем позднейшая выдумка.

Оказавшись в Тифлисе и быстро оправившись от ранения, Грибоедов вдруг осознал, что для успешного завершения комедии, которая уже получила название «Горе от ума», ему было необходимо взглянуть на изменившееся (и вряд ли к лучшему) за пять лет столичное общество. Он испросил отпуск – и неожиданно легко получил его почти на два года.

Летом 1824 г. после бурного и блестящего зимнего сезона в Москве Грибоедов закончил «Горе от ума», но об этом знала только его сестра. Увы, роковая случайность сделала тайное явным и люди, узнавшие себя в безжалостной сатире, сделали все возможное, чтобы пьеса не увидела света. Ни Пушкину, ни Лермонтову впоследствии и не снились такие жесткие цензурные ограничения, такое озлобленное гонение.

По словам самого Грибоедова, с той минуты, как приобрело такую гласность его заветное произведение, он поддался соблазну слышать свои стихи на сцене, перед той толпой, образумить которую они должны были. Он решил ехать в Петербург хлопотать о ее постановке.

Но высокопоставленные недоброжелатели успели настолько повредить ему в правящих сферах, что все, чего он мог добиться, было разрешение напечатать несколько отрывков из пьесы в альманахе «Русская Талия» на 1825 г., тогда как сценическое исполнение было безусловно запрещено.

Естественно, как это водится на Руси, комедия получила беспримерную распространенность в десятках тысяч списков. Это была слава, но совсем не такая, какой желал автор: злобная критика, обрушивавшаяся и на комедию, и на него лично, и на все, что ему было дорого, – все это сильно подействовало на Грибоедова.

Веселость его была утрачена навсегда; периоды мрачной хандры все чаще посещали его; он поторопился вернуться на Кавказ и тем самым остался в стороне от событий на Сенатской площади.

Правда, пришлось давать показания следственной комиссии, но фактически дело декабристов никак не отразилось ни на жизни, ни на судьбе Грибоедова, хотя в корне изменило его характер. Литературная деятельность, по-видимому, прекратилась для Грибоедова навсегда. Творчество могло бы осветить его унылое настроение; он искал новых вдохновений, но с отчаянием убеждался, что эти ожидания тщетны.

«Не знаю, не слишком ли я от себя требую, – писал он из Симферополя, – умею ли писать? Право, для меня все еще загадка. Что у меня с избытком найдется что сказать, за что я ручаюсь; отчего же я нем?»

На сей раз служба на Кавказе не ограничивалась канцелярскими обязанностями: то и дело вспыхивали вооруженные конфликты между персами и русскими. Необходимо было принимать участие в военных начинаниях, сопровождать войска во время экспедиций в горы, или же, когда началась русско-персидская война 1827 – 28 гг., присутствовать при всех схватках и сражениях. Мало кому известно, что на войне Грибоедов показал себя абсолютно бесстрашным человеком, не уклонявшимся от самых опасных поручений. Впрочем, возможно, это прошло мимо внимания историков еще и потому, что сам Грибоедов чрезвычайно редко и скупо писал о своей военной жизни.

Дипломатический опыт Грибоедова оказался неоценимым во время переговоров с побежденными персами и заключении выгоднейшего для России Туркманчайского договора, принесшего ей и значительную территорию, и большую контрибуцию. Но именно это стало той первой искрой, из которой разгорелось жгучее пламя ненависти персов к русскому дипломату: сквозь витиеватые любезности в восточном вкусе слишком ясно проглядывали ненависть и нетерпеливое желание отомстить.

В феврале 1828 г. Грибоедов едет снова на север с донесениями и текстом трактата. Он был принят во дворце, где получил чин статского советника, орден святой Анны с алмазами, медаль за персидскую войну и четыре тысячи червонцев. И опять странно, что так мало и скупо пишут историки о дипломатических успехах Грибоедова и о стремительном взлете его карьеры. А ведь он отстаивал интересы России – не свои личные...

Парадоксально и то, что только дипломатическая служба давала Грибоедову средства к жизни. Его молодой приятель Пушкин уже зарабатывал литературным трудом (впрочем,

тут же проматывая все заработанное), у Грибоедова же решительно не было времени на сочинения, а «Горе от ума», которое могло бы обеспечить ему безбедную жизнь, по-прежнему находилось под жестким запретом цензуры.

Окончание войны, поездка в Петербург и новая деятельность, открывшаяся вслед затем перед Александром Сергеевичем, пресекли последние порывы его к творчеству. Пришлось поставить на сцене жизни небывалую трагикомедию с кровавой развязкой. Никого не нашлось из числа дипломатов, кто сумел бы, явившись в побежденную Персию, тотчас после ее поражения, установить с тактом, знанием людей и условий жизни, правильные отношения обеих стран, кроме Грибоедова, пользовавшегося репутацией специалиста по персидским делам и творца только что заключенного договора.

Несмотря на заявленное им решительнее прежнего нежелание ехать в Персию, где, как он вправе был ожидать, его всего более ненавидели как главного виновника унижения национальной чести, отказаться было невозможно ввиду категорически заявленного желания императора.

Грустно прощался Грибоедов со всеми знавшими его, предчувствуя вечную разлуку. Упрочение русского влияния в Персии, предстоявшее теперь как главная задача его деятельности, уже не занимало его вовсе; он слишком пригляделся к восточному быту и складу мысли, чтобы находить живой интерес в открывшейся перед ним возможности долгого житья в одном из центров застоя, самоуправства и фанатизма.

Но долг внушал стойко осуществлять принятое на себя трудное дело, и новый полномочный министр не раз взвесил и обдумал, во время пути из Петербурга, политику, которой он должен следовать.

Луч счастья осветил внезапно усталого душой Грибоедова в ту пору жизни, когда, казалось, все радости его покинули. В жизни Грибоедова было множество сердечных увлечений и романов, он сам признавался, что «въ гр; шной своей жизни черн; е угля выгор; ль отъ нихъ». Никогда, однако, он не переживал глубокого и сильного чувства и даже выработал себе несколько пренебрежительный взгляд на женщин:

«Я врагъ крикливаго пола... Женцина есть мужчина-ребенокъ, дайте ей пряникъ да зеркало – и она будетъ совершенно довольна... Чему отъ нихъ можно научиться? Он; не могутъ быть ни просв; щенны безъ педантизма, ни чувствительны безъ жеманства. Разсудительность ихъ сходитъ въ недостойную разсчетливость и самая чистота нравовъ – въ нетерпимость и ханжество. Он; чувствуютъ живо, но не глубоко. Судятъ остроумно, только безъ основанія, и, быстро схватывая подробности, едва ли могутъ постичь, обнять ц; лое. Есть исключенія, за то они р; дки; и какой дорогой ц; ной, какую потерю времени должно покупать приближеніе къ этимъ феноменамъ! словомъ, женщины сносны и занимательны только для влюбленныхъ...»

Все эти теории рухнули в тот момент, когда в Тифлисе он встретил пятнадцатилетнюю княжну Нину Александровну Чавчавадзе, уже считавшуюся признанной красавицей в Тифлисе и имевшую тьму поклонников, наперебой превозносивших не только ее красоту, но и ум. Она была моложе Грибоедова на семнадцать лет – и чуть ли не столько же лет знала его, как друга дома. Вероятно, любовь Грибоедова к Нине незаметно выросла вместе с ней самой.

Что случилось, какая молния поразила Александра и юную княжну – неизвестно. Но после одного из семейных обедов в доме родителей Нины, Грибоедов отвел ее в сторону и буквально выпалил предложение руки и сердца. И оно было принято.

Грибоедов был безмерно счастлив, несмотря на то, что здоровье его резко ухудшилось, он страдал от приступов лихорадки и даже потерял сознание в церкви во время венчания, уронив при этом обручальное кольцо. Многие сочли это зловещим предзнаменованием. Новобрач-

ный же говорил лишь о том, что переживает такой роман, который оставляет далеко за собой самые причудливые повести славящихся своей фантазией беллетристов.

Когда он поправился настолько, что мог пуститься в путь, они отправились в Тевриз через Эривань. Всюду молодую чету принимали с истинно грузинским гостеприимством, старались подольше задержать дорогих гостей под любыми предложениями, и эти восточные любезности стали мешать Грибоедову в исполнении его служебных обязанностей.

В Тебризе обнаружилось, что Нина беременна и везти ее с собой в Персию – невозможно, из-за всевозможных осложнений со здоровьем. Договорились, что Нина проведет некоторое время в Тевризе, окрепнет и приедет к супругу в Тегеран, где он к тому времени приготовит все необходимое.

О нежности, которой он окружал свою маленькую «мурильевскую пастушку» (как он называл Нину; ей только что пошел шестнадцатый год), говорит письмо его к ней, одно из последних (из Казбина, 24 декабря 1828 г.), полное ласки, любви и мольбы к Богу, чтобы никогда им больше не разлучаться:

«Безценный другъ мой, жаль мне тебя, грустно безъ тебя какъ нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значить любить. Прежде разставался со многими, къ которымъ тоже крепко былъ привязанъ, но день, два, неделя и тоска исчезала, теперь чемъ далее отъ тебя, темъ хуже. Потерпимъ еще несколько, ангель мой, и будемъ молиться Богу, чтобы намъ после того никогда более не разлучаться...

Помнишь, другъ мой неоцененный, какъ я за тебя сватался, безъ посредниковъ, тутъ не было третьяго. Помнишь, какъ я тебя въ первый разъ поцеловалъ, скоро и искренно мы съ тобой сошлись, и на веки...

Когда я къ тебе ворочусь! Знаешь, какъ мне за тебя страшно, все мне кажется, что опять съ тобой то же случится, какъ за две недели передъ моимъ отъездомъ. Только и надежды, что на Дереджану, она чутко спитъ по ночамъ, и отъ тебя не будетъ отходить. Поцелуй ее, душка, и Филиппу и Захарію скажи, что я ихъ по твоему письму благодарю. Коли ты будешь ими довольна, то я буду уметь и ихъ сделать довольными».

Прибыв в Тегеран, Грибоедов с какой-то отчаянной решимостью начал выполнять ту программу действий, которую сам себе составил: ни в чем не уступать персам, получить для России как можно больше выгод. Естественно, друзей среди персов это ему не прибавило, зато дало возможность англичанам, постоянно интриговавшим при персидском дворе против России, настроить шаха против строптивого русского дипломата.

Ситуация становилась все острее еще и потому, что патриотизм был постоянной, яркой и устойчивой чертой характера Грибоедова. Не показной, а истинный патриотизм: с первых шагов своей дипломатической деятельности он готов был жизнь положить за несчастных соотечественников. Один из его современников вспоминал:

«Мн; не случилось въ жизни ни въ одномъ народ; вид; ть челов; ка, который бы такъ пламенно, такъ страстно любилъ свое отечество, какъ Грибо; довъ любилъ Россію. Онъ въ полномъ значеніи обожалъ ее. Каждый благородный подвигъ, каждое высокое чувство, каждая мысль въ русскомъ приводили его въ восторгъ».

Но в данной ситуации Грибоедов слишком далеко зашел. Стремясь как можно быстрее урегулировать все спорные вопросы, добиться в стране мира и покоя и заняться, наконец, прочным устройством личной жизни, он невольно возбуждал ненависть персов, поддерживаемую и разжигаемую властями и особенно духовными лицами. При огромных скоплениях народа они фанатически проповедовали месть и истребление русских, как «врагов Аллаха».

Светские персидские сановники хотели лишь заставить русских пойти на некоторые уступки в договорах, народный мятеж и, тем более, резня совершенно не входили в их планы. Но в роковой день возле русского посольства собралась почти сотысячная неуправляемая толпа фанатиков. Посольство было вырезано полностью, чудом спасся лишь один человек – советник Мальцов. Это случилось 30 января 1829 года.

Катастрофу предвидели все – и персы, и русские, и все же она произошла. Грибоедова сумели опознать в гуде тел только по руке, изуродованной во время дуэли с Якубовичем. Потребовались долгие дипломатические усилия персидского правительства, чтобы снова наладить отношения с Россией: ему это удалось, в основном, потому, что шла очередная российско-турецкая война и император Николай не желал приобретать второго противника на театре военных действий.

Конфликт окончательно разрешился лишь весной, когда из Тегерана в

Петербург выехало высокое посольство во главе с царевичем Хозрев-Мирзой, который вез цену крови погибших русских – знаменитый алмаз «Шах», которым и поныне можно любоваться в Оружейной палате Кремля.

Николай I принял посольство со всей возможной пышностью и в ответ на витиеватую персидскую речь сказал всего семь слов:

– Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие!

Но тело одной из жертв «злополучного происшествия» везли в Россию куда медленнее и без особых почестей. Только 2 мая гроб прибыл в Нахичевань и был встречен русскими властями. 11 июня, неподалеку от крепости Гергеры, произошла знаменательная встреча с Пушкиным, описанная им самим в «Путешествии в Эрзерум»:

«Я пере; халь черезъ р; ку. Два вола, впряженные въ арбу, подымались по крутой дорог;. Н; сколько грузинъ сопровождали арбу.

– Откуда вы? спросилъ я.

– Изъ Тегерана.

– Что вы везете?

– Грибо; да.

Это было т; ло убитаго Грибо; дова, которое препровождали въ Тифлисъ.

Не думаль я встр; тить уже когда-нибудь нашего Грибо; дова! Я разстался съ нимъ въ прошломъ году, въ Петербург;, предъ отъ; здомъ его въ Персію. Онъ былъ печалень и им; ль странныя предчувствія. Я было хот; ль его успокоить, онъ мн; сказалъ:

– Vous ne connaissez pas ces gens la: vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux... (Вы не имеете представления об этих людях, вот увидите, в ход пойдут кинжалы)»

Нина Грибоедова долгое время не знала о произошедшей трагедии. Она по-прежнему жила в Тевризе, где ее оставил муж, и единственным ее утешением и развлечением были письма от него. Но после 30 января воцарилось молчание, понять причин которого юная женщина не могла. Сначала она пыталась успокоить себя рассуждениями о трудностях дороги из Персии в Россию, о возможной пропаже писем, и ее друзья всячески поддерживали в ней это настроение. Но наконец русский консул в Тевризе получил официальное сообщение о катастрофе...

Нине Александровне не решились рассказать страшную правду. Приехавший из Тегерана Мальцев, проявив чудеса выдержки, рассказал Грибоедовой, что ее супруг здоров, но слишком занят, поэтому не мог написать, а просил на словах передать его просьбу вернуться в Тифлис к родителям и там дожидаться возвращения мужа. Пришло письмо от князя Чавчавадзе, сообщившего дочери ту же версию.

Терзаемая страшными подозрениями, шестнадцатилетняя беременная женщина подчинилась воле мужа и отца.

В родительском доме она была окружена любовью и заботой, но случай – болтливость захавшей в гости родственницы – открыл страшную правду. В ту же ночь Нина Александровна до срока разрешилась от бремени ребенком, прожившим лишь несколько часов. Какое-то время врачи опасались за жизнь самой матери, но молодость и здоровье не дали ей воссоединиться с мужем.

Она встречала процессию с останками Грибоедова, прибывшую в Тифлис вечером 17 июля (почти через полгода после трагедии!). Сохранились свидетельства очевидца об этой сцене:

«Дорога къ городской застав; идетъ по правому берегу Куры; по об; имъ сторонамъ тянутся виноградные сады, огороженные высокими каменными ст; нами. Въ печальномъ шествіи было н; что величественное и неизъяснимымъ образомъ трогало душу: сумракъ вечера, озаренный факелами, ст; ны, сплошь унизанная плачущими грузинками, окутанными въ б; лыя чадры, протяжное п; ніе духовенства, за колесницею толпы народа, воспоминаніе объ ужасной кончин; Грибо; дова – раздирали сердца знавшихъ и любившихъ его! Вдова, осужденная въ блестящей юности своей испытать ужасное несчастіе, въ горестномъ ожиданіи стояла съ семействомъ своимъ у городской заставы; св; ть перваго факела возв; стиль ей о близости драгоц; ннаго праха: она упала въ обморокъ, и долго не могли привести ее въ чувство».

На другой день состоялось отпевание в том же Сионском соборе, где совсем недавно проходило венчание Грибоедова и княжны Чавчавадзе. Даже митрополит, произносивший надгробное слово, не мог удержаться от слез, собравшиеся же в храме рыдали. Похоронили Грибоедова у монастыря святого Давида, прекрасным местоположением которого он всегда любовался, выражая желание найти себе здесь могилу. В последний путь Александра Сергеевича провожал чуть ли не весь город.

Позже вдова воздвигла на могиле Грибоедова скульптурный памятник со словами, подсказать которые могло только бесконечно любящее сердце:

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но для чего пережила тебя любовь моя?»

Ее любовь пережила Грибоедова почти на тридцать лет. Нина Александровна осталась верна памяти покойного мужа и отклоняла самые лестные брачные предложения и в 1857 году была похоронена рядом с ним.

Увы, пожалуй она одна по достоинству оценила ту утрату, которую понесла Россия. Ужаснувшись страшной смерти великого человека, общество почти мгновенно забыло о нем. Не было ни стихов, прославлявших безвременно ушедшего талантливого писателя и дипломата, ни возмущения такой нелепой кончиной. Да и о вдове Грибоедова мало кто вспоминал: она же всего-навсего сохраняла ему верность и не совершала поступков, ускоривших его кончину. Она просто любила... а это скучно и неромантично. То ли дело Натали Гончарова!

И литературное наследство Грибоедова осталось практически неизвестным и не востребовавшимся. Хотя он был талантливым поэтом, судя по немногим сохранившимся стихам, как, например, вот это:

«Я дружбу пел... Когда я струн касался,  
Твой гений над главой моей парил,  
В стихах моих, в душе тебя любил  
И призывал, и о тебе терзался!...  
О, мой Творец!... Едва расцветший век

Ужели ты безжалостно пресек?  
Допустишь ли, чтобы его могила  
Живого от любви моей сокрыла?»

Стихотворение посвящено Одоевскому, близкому другу Грибоедова, сосланному в Сибирь за участие в декабристском мятеже. С моей точки зрения, оно ни в чем не уступает аналогичным произведениям прославленных поэтов.

Справедливости ради, следует все же сказать, что Грибоедов был не столько поэтом, сколько драматургом, причем его имя навеки связано лишь с одним единственным произведением. История мировой литературы знает немало таких примеров: Данте с его «Божественной комедией», «Дон-Кихота» Сервантеса, «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо. Эти авторы писали и другие произведения, но память потомков сохранила только лучшее.

Так же произошло и с Грибоедовым. Явно опередивший свое время, неспособный в силу своего характера сделать блестящую придворную и дипломатическую карьеру, что так блистательно удалось вскоре Горчакову, тезка Пушкина навеки остался в тени памяти потомков. Хотя, повторюсь, сделал для блага России много больше всех литераторов своего века вместе взятых.

Герой, безусловно. Но, увы, не своего времени.

## Первостепенный талант

Очень любопытно, между прочим, что поэт, равный талантом Пушкину, оказался отодвинутым далеко на задний план по малопонятным причинам. Сознавая величие Пушкина, он в письме к нему лично предлагал ему «возвести русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Пётр Великий возвел Россию между державами», но никогда не упускал случая отметить то, что почитал у Пушкина слабым и несовершенным.

Они были близкими друзьями, но и этот факт как-то незаметно стерся из жизнеописания «Солнца русской поэзии». Позднейшая критика прямо обвиняла его в зависти к Пушкину и высказывала предположение, что Сальери Пушкина списан именно с этого человека.

Возможно. Пушкин не отличался большой щепетильностью и мог написать злую эпиграмму даже на близкого друга – что уж говорить об образе! Тем паче, что в стихотворении «Осень» друг-поэт явно имел в виду Пушкина, когда говорил о «буйственно несущемся урагане», которому всё в природе откликается, сравнивая с ним «глас, пошлый глас, вещатель общих дум», и в противоположность этому «вещателю общих дум» указывал, что «не найдет отзыва тот глагол, что страстное земное перешел».

Стихотворение осталось незаконченным – Пушкин погиб на дуэли. А Евгений Баратынский, дерзнувший критиковать самого Александра Сергеевича, был методично и последовательно затоптан критиками и пушкиноведами до состояния «один из поэтов времен Пушкина». Солнце русской поэзии, даже закатившись, выжигало все вокруг себя.

Попробуем все-таки восстановить превратившиеся в почти тени фигуры...

Один из самых значительных русских поэтов первой половины девятнадцатого века... нет, не Пушкин, не Лермонтов и даже не Денис Давыдов. Евгений Баратынский.

Большинство публикаций в литературных журналах и отдельных изданиях 1820-х – 1830-х годов подписаны – Баратынский. Однако последняя подготовленная поэтом к печати книга стихов подписана: «Сумерки. Сочинение Евгения Боратынского». В советское время преобладало написание фамилии поэта через «а», теперь вновь стало активно использоваться написание Боратынский; так его фамилия пишется в Полном собрании сочинений и в Большой Российской Энциклопедии.

Потомок польского дворянского рода, в конце семнадцатого века обосновавшегося в Россию, родился 2 марта 1800 года в родительском имении в Тамбовской губернии. Отец будущего поэта – Абрам Андреевич Баратынский был генерал-лейтенантом и состоял в свите императора Павла Первого, мать – Александра Федоровна, урожденная Черепанова – была фрейлиной императрицы Марии Фёдоровны.

Вместо няньки уже с двух лет воспитанием маленького Евгения занимался специально выписанный итальянец Боргезе, поэтому мальчик рано познакомился с языком Данте и Петрарки и свободно говорил и писал на нем. То же самое было и с французским языком, на котором говорили все в семье Баратынских; Евгений писал по-французски письма с восьми лет без единой ошибки. Когда мальчику исполнилось восемь лет, его, старшего в семье, отдали в частный немецкий пансион в Петербурге – с понятным результатом. Остальная семья переехала на жительство в Москву.

Через два года, в 1810 году, умер отец, и вся семья возвратилась в имение. Мать Евгения, женщина образованная и умная, стала готовить сына к поступлению в Пажеский корпус. О своем детстве будущий поэт вспоминал:

«С детства я тяготился зависимостью и был угрюм, был несчастлив».

Из его детских и юношеских писем видно, что он духовно созрел очень рано и с первых лет сознательной жизни уже был склонен смотреть на весь мир сквозь мрачное стекло. Восьмилетним ребенком, из пансиона, он писал матери о своих товарищах:

«Я надеялся найти дружбу, но нашел только холодную и аффектированную вежливость, дружбу небескорыстную: все были моими друзьями, когда у меня было яблоко или что-нибудь иное».

В 11 лет он писал:

«Не лучше ли быть счастливым невеждою, чем несчастным мудрецом? Отказываясь от того, что есть в науках хорошего, избавляемся ли мы и от утонченных пороков?»

Утешая мать, после смерти бабушки, Баратынский в 1814 году рассудительно замечал:

«Я понимаю вашу скорбь, но подумайте, дорогая мамаша, что это – закон природы. Мы все родимся затем, чтобы умереть, и, на несколько часов раньше или позже, всем придется покинуть тот ничтожный атом грезы, что называется землей!... Существует ли такое прибежище в мире, кроме пределов океана, где жизнь человеческая не была бы подвержена тысячам несчастий, где смерть не похищала бы сына у матери, отца, сестру? Повсюду самое слабое веяние может разрушить тот бранный состав, что мы называем нашим существованием...»

Все эти рассуждения были почерпнуты Баратынским из книг, так как он читал много, но характерно, что именно такие мысли привлекали внимание мальчика. В те же годы юный Пушкин, на лицейской скамье, зачитывался Анакреонтом и легкомысленными французскими поэтами.

Из немецкого пансиона Баратынский перешёл в Пажеский Его Императорского Величества корпус, где с первых шагов показал себя вдумчивым и талантливым учеником, а в письмах матери писал о своём желании посвятить себя военно-морской службе. Увы, его мечтам не осуждено было сбыться.

Атмосфера Пажеского корпуса, этого привилегированного заведения, видимо, резко отличалась от той, в какую попал Пушкин в Лицее. В письме Жуковскому Баратынский подробно рассказал о пребывании в корпусе: о друзьях («резвые мальчишки») и недругах («начальники»), об «обществе мстителей», возникшем под влиянием «Разбойников» Шиллера («Мысль не смотреть ни на что, свергнуть с себя всякое принуждение меня восхитила; радостное чувство свободы волновало мою душу...»). Мстительные забавы завершились прискорбно – компания товарищей позаимствовала у отца одного из мальчиков пятьсот рублей и черепаховую табакерку в золотой оправе.

Проделка раскрылась. И хотя отец, у которого были взяты деньги и безделушка, клялся, что сам дал сыну ключ от шкапулки, начальство было неумолимо: веселую компанию исключили из корпуса. Им было запрещено поступать на государственную службу. А в армию они могли вступить только рядовыми.

Нетрудно представить смятенное состояние чувствительного, пылкого, щепетильного юноши. Встреча с матерью потрясла Баратынского, особенно неожиданной «бездной нежности». Сердце его «сильно вострепело при живом к нему воззвании; свет его разогнал призраки, омрачившие мое воображение, – писал он Жуковскому. – Я ужаснулся как моего поступка, так и его последствий...»

Происшествие в Пажеском корпусе сильно подействовало на юношу 16-ти лет; он признавался позднее, что в ту пору «сто раз был готов лишиться себя жизни». Позор, пережитый поэтом, потряс Баратынского, вызвал тяжелое нервное расстройство и наложил отпечаток на его харак-

тер и последующую судьбу, оказал влияние на выработку пессимистического мирозерцания и навсегда наложило отпечаток на «сумрачную» поэзию Баратынского.

Покинув столицу, Баратынский несколько лет жил частью с матерью в Тамбовской губернии, частью у дяди, брата отца, отставного вице-адмирала Баратынского в Смоленской губернии. Именно в поместье у дяди Баратынский от скуки начал писать стихи – первоначально французские куплеты и четверостишия, что было в большой моде среди светской молодежи. Но уже к девятнадцати годам Евгений писал по-русски, его стих стал приобретать то «необщее выражение», которое впоследствии он сам признавал главным достоинством своей поэзии.

В 1819 году Баратынский поступил рядовым в Лейб-гвардии Егерский полк, не желая оставаться «праздным светским мотыльком». Он избегал старых знакомств, но обрел новые. Офицер из полка (вероятно, А. Бестужев) познакомил его с Дельвигом. Знакомство быстро перешло в дружбу. Как дворянин Боратынский имел большую свободу, чем простые солдаты: вне службы ходил во фраке, жил не в общей казарме, а на частной квартире. Через некоторое время после знакомства они сняли небольшую квартирку на пару с Дельвигом и на пару же сочинили об этом стихотворение:

«Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,  
Жил поэт Боратынский с Дельвигом, тоже поэтом.  
Тихо жили они, за квартиру платили немного,  
В лавочку были должны, дома обедали редко...»

Баратынский стал своим человеком в лицейском кружке и через него окунулся в очень беспокойную и непростую «литературно-политическую» столичную жизнь.

В своем письме о положении России после наполеоновских войн А. Бестужев писал:

«Во всех углах виделись недовольные лица, на улицах пожимали  
плечами, везде шептались, – все говорили: к чему это приведет? Все элементы  
были в брожении».

Настроения эти больше всего, конечно, чувствовались в Петербурге. Даже пажи писали вольнодумные стихи и устраивали «тайные собрания». В Вольном обществе любителей российской словесности образовалась группа молодых литераторов, мечтавших о более либеральном направлении общества и более широкой литературной деятельности. Это были: Ф. Глинка, Кюхельбекер, позднее Рылеев, Дельвиг и другие.

Интересно, что первоначально не было почти никакой литературы, а лишь разговоры и философствования. В 1818 году министр народного просвещения исходатайствовал им особый устав и позволил издавать журнал «Соревнователь просвещения и благотворения. Труды вольного общества любителей российской словесности». Журнал с огромным трудом выдержал издание десяти номеров и тихо закрылся.

Зато дух «вольного» общества безраздельно царил и в лицейском кружке, и на офицерских пирушках, и даже в некоторых салонах. Такова была литературная и общественная атмосфера Петербурга, в которую попал Баратынский. Тогда же он был представлен Жуковскому и начал посещать его «среды».

Через Дельвига Баратынский быстро сошёлся с Пушкиным и с Кюхельбекером, хотя последний редко выходил «в свет». По словам Вяземского, это была забавная компания: высокий, нервный, склонный к меланхолии Баратынский, подвижный, невысокий Пушкин и толстый вальяжный Дельвиг.

«Пушкин, Дельвиг, Боратынский – русской музы близнецы» – сострил где-то князь Пётр, не подозревая, что судьба этих «близнецов» сложится по-разному. Пушкин станет «главным» русским поэтом, Дельвиг навсегда войдет в историю как его друг, а Баратынский будет...

надолго фактически забыт. Но тогда это были просто одинаково талантливые, беспокойные юноши, которые беспрестанно говорили о поэзии, и каждый искал в ней свой путь.

Под влиянием Дельвига Баратынский серьезно стал относиться к своей поэзии и в «служении Музам» увидел новую для себя цель жизни.

«Ты дух мой оживил надеждою возвышенной и новой», – писал он позднее Дельвигу.

Этот период закончился для Баратынского окончательно и бесповоротно, когда в 1820 году высочайшим повелением он был произведен в офицеры и отправлен в Финляндию, в расквартированный там полк. Пять лет, проведенных на «сумрачном севере», окончательно превратили Баратынского в романтико-лирического поэта: там он написал, помимо стихотворений, свою знаменитую поэму «Эда».

Когда эта поэма в 1826 году увидела свет, Пушкин приветствовал ее как «произведение, замечательное своей оригинальной простотой, прелестью рассказа, живостью красок и очерком характеров, слегка, но мастерски означенных». Почему эта поэма, отличающаяся замечательным мастерством формы и выразительностью изящного стиха, ничуть не уступающего пушкинскому, была впоследствии практически забыта?

Первые подражательные стихи в условно-элегическом роде имели шумный успех, «Эда», предлагавшая новое (отличное от пушкинского) решение романтического характера, была высоко оценена Пушкиным, но ее так и не поняли ни критики, ни читатели.

По поводу поэмы «Эда» Пушкин писал, что «стих каждый в повести твоей звучит и блещет, как червонец». Эпиграфы из произведений Баратынского выписывались им для «Онегина» (гл. VII), «Арапа Петра Великого», «Выстрела». Многочисленными и неизменно восторженными отзывами о его стихах полна переписка Пушкина с петербургскими и московскими литераторами.

Сослуживцы описывали его как худощавого, бледного человека, склонного к меланхолии и унынию.

И для меланхолии, и для уныния были веские причины.

«Не служба моя, к которой я привык, меня обременяет, – писал он Жуковскому, – меня тяготит противоречие моего положения. Я не принадлежу ни к какому сословию, хотя имею какое-то звание. Ничьи надежды, ничьи наслаждения мне не приличны. Я должен ожидать в бездействии перемены судьбы своей... Не смею подать в отставку, хотя, вступив в службу по собственной воле, должен бы иметь право оставить ее, когда мне заблагорассудится; но такую решимость могут принять за своеволие».

В своей сословной ущербленности Баратынский ощущал себя одиноким, чуждался «света». Трещина, образовавшаяся в годы солдатской службы между Баратынским и его сословием, так и не заполнилась до конца жизни.

Друзья усиленно хлопотали за него в Петербурге. О снятии наказания просили А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, В. А. Жуковский. Пушкин, сам находясь в Михайловской ссылке, писал брату:

«Что Баратынский?.. И скоро ль, долго ль?.. как узнать?.. Где вестник искупления? Бедный Баратынский, как подумаешь о нем, так поневоле постыдишься унывать... Уведомь о нем – свечку поставлю за Закревского, если он его выручит...»

Весной 1824 года Денис Давыдов писал своему приятелю, генерал-губернатору Закревскому:

«Сделай милость, постарайся за Баратынского, разжалованного в солдаты, он у тебя в корпусе. Гнет этот он несет около восьми лет или более,

неужели не умилятся? Сделай милость, друг любезный, этот молодой человек с большим дарованием и, верно, будет полезен. Я приму старанье твое, а еще более успех в сем деле за собственное мне благодеяние».

Осенью этого года Евгений Баратынский получил предписание приехать в Гельсингфорс и состоять при корпусном штабе генерала А. А. Закревского. Поэт стал бывать в высшем свете города, где блистала своей красотой жена Закревского, Аграфена Федоровна, особа более чем незаурядная. Пушкин назвал генеральшу Закревскую «беззаконной кометой в кругу расчисленном светил», которая очаровывала каждого, имевшего неосторожность приблизиться к ней.

Образ этой неординарной женщины вдохновил знаменитого поэта на создание поэмы «Бал», вышедшей в 1828 году, в которой Закревская выведена под именем княгини Нины. Так в лирике Евгения Абрамовича родился новый для русской поэзии образ – роковой соблазнительницы с холодным сердцем. В светском обществе Аграфена славилась количеством любовных похаживаний, которые афишировала с вызывающей смелостью.

«Она – моя героиня, – писал Баратынский своему другу. – Стихов 200 уже у меня написано... Спешу к ней. Ты будешь подозревать, что я несколько увлечен... Но я надеюсь, что первые часы уединения возвратят мне рассудок. Напишу несколько элегий и засну спокойно. Поэзия – чудесный талисман: очаровывая сама, она обесиливает чужие вредные чары...»

И тут же писал:

«Какой несчастный плод преждевременной опытности – сердце, жадное страсти, но уже неспособное предаваться одной постоянной страсти и терпящееся в толпе беспредельных желаний! Таково положение М. и мое».

Эта любовь принесла Баратынскому немало мучительных переживаний, отразившихся в таких его стихотворениях, как «Мне с упоением заметным», «Фея», «Нет, обманула вас молва», «Оправдание», «Мы пьем в любви отраву сладкую», «Я безрассуден, и не диво...», «Как много ты в немного дней».

Впрочем, у него страсть всегда уживалась с рассудительностью, и не случайно он одинаково любил математику и поэзию.

Закревская вдохновила поэта на знаменитое «Разуверение» («Не искушай меня без нужды...»), положенное на музыку М. Глинкой.

«Не искушай меня без нужды  
Возвратом нежности твоей:  
Разочарованному чужды  
Все обольщенья прежних дней.  
Уж я не верю увереньям,  
Уж я не верую в любовь  
И не могу предаться вновь  
Раз изменившим сновиденьям!  
Слепой тоской моей не множь,  
Не заводи о прежнем слова,  
И, друг заботливый, больного  
В его дремоте не тревожь!  
Я сплю, мне сладко усыпленье;  
Забудь бывалые мечты:  
В душе моей одно волненье,  
А не любовь пробудишь ты».

В глазах современников она представляла женщиной, дерзко презирающей мнение света, сверхсексуальной и даже порочной, внушающей страх заразительной силой своей почти сатанинской страстности. Не исключено, что Аграфена Федоровна сознательно стремилась создать вокруг себя ореол «роковой» женщины. Ей необходимы были сильные ощущения, опасная игра страстей.

Тогда же поэт начал работать над своей поэмой «Бал», которую опубликовал в 1828 году. Он сам признавался, что замысел этой поэмы был связан с Гельсингфорскими впечатлениями и что прототипом ее главной героини являлась «Она», т. е. Аграфена Федоровна Закревская. В поэме она названа... Ниной Воронскою.

Не удивляйтесь, что имя Вам знакомо: его у Баратынского впоследствии позаимствовал Пушкин, посадив на великосветском балу Татьяну рядом с «блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрою Невы». Так частенько называли Закревскую ее поклонники. У Баратынского гордая Нина Воронская полна презрения к чужому мнению и смеется над добродетелью. И неожиданно для себя по-настоящему влюбляется в человека, сердце которого принадлежит другой, причем воплощающей для Нины те самые ненавистные ей «ужимки деревенские» женской добродетели – в Арсения.

Арсений же не может забыть свою «малютку Оленьку», которой с детских лет был предназначен в супруги и с которой его развела... дуэль, на которой Арсений убил своего друга, приревновав его к невесте...

Я не пересказываю «Евгения Онегина» – это фабула поэмы Баратынского. Неожиданно Арсений получает сообщение, что Оленька его простила и готова идти с ним под венец. Прекрасная Нина забыта и оставлена, не в силах справиться с ревностью, унижением и потерей любимого, она принимает яд и умирает. Концовка неожиданная, многим показавшаяся странной, но в ней заключена своеобразная идея возмездия. Самоубийство главной героини – последний штрих к созданному Баратынским романтическому характеру. Может быть, так он мыслил для себя прощание с искушавшей его Закревской?

Только в апреле 1825 года, после почти семи лет военной службы нижним чином, Баратынский (по представлению А. А. Закревского) наконец был произведен в офицеры, что давало ему возможность распоряжаться своей судьбой. Осенью того же года он уехал в отпуск в Москву, к матери, и в Финляндию уже не вернулся, выйдя в отставку в чине прапорщика 31 января 1826 года.

«Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, – писал он по этому поводу – В Финляндии я пережил все, что было живого в моем сердце. Её живописные, хотя угрюмые горы походили на прежнюю судьбу мою, также угрюмую, но, по крайней мере, довольно обильную в отличительных красках. Судьба, которую я предвижу, будет подобна русским однообразным равнинам...»

«Судьбой наложенные цепи  
Упали с рук моих, и вновь  
Я вижу вас, родные степи,  
Моя начальная любовь.  
Степного неба свод желанный,  
Степного воздуха струи,  
На вас я в неге бездыханной  
Остановил глаза мои.  
Но мне увидеть было слаще

Лес на покате двух холмов  
И скромный дом в садовой чаше —  
Приют младенческих годов.  
Промчалось ты, златое время!  
С тех пор по свету я бродил  
И наблюдал людское племя  
И, наблюдая, восскорбил.  
Ко благу пылкое стремленье  
От неба было мне дано;  
Но обрело ли разделенье,  
Но принесло ли плод оно?..  
Я братьев знал; но сны молодые  
Соединили нас на миг:  
Далече бедствуют иные,  
И в мире нет уже других...»

Конечно, он сгущал краски, как и все поэты. В августе 1825 года Баратынский оказался в Петербурге, куда неожиданно нагрянула Закревская, прекрасная как никогда, готовая, кажется, облагодетельствовать поэта куда большим вниманием, нежели прежде. И действительно начался их тайный роман.

«Аграфена Федоровна обходится со мною очень мило, и хотя я знаю, что опасно и глядеть на нее, и ее слушать, я ищущу и жажду этого мучительного удовольствия».

Несколько месяцев спустя Закревская вернулась к супругу в Гельсингфорс, а Баратынский уехал в Москву и внезапно объявил о своей помолвке с Анастасией Энгельгардт. Узнавший об этом Пушкин был изумлен:

«Правда ли, что Баратынский женится? Боюсь за его ум...»

Непонятно, почему так опасался Пушкин за рассудок друга после того, как завершился его роман с «Клеопатрою Невы». Логичнее было бы опасаться раньше, тем более, что и Александра Сергеевича пылкая красавица не обошла своею благосклонностью.

В Москве, 9 июня 1826 года, Баратынский женился на Анастасии Львовне Энгельгардт, дочери генерал-майора. Его жена не была красива, но отличалась умом, ярким и тонким вкусом. Её непокойный характер причинял много страданий самому Баратынскому и повлиял на то, что многие его друзья от него отделились. В мирной семейной жизни постепенно сгладилось в Баратынском всё, что было в нём буйного, мятежного; он сознавался сам:

«Весельчакам я запер дверь,  
Я пресыщен их буйным счастьем,  
И заменил его теперь  
Пристойным, тихим сладострастьем».

В свете Баратынские бывали редко. Они любили подолгу жить в поместье Мураново, где по проекту поэта был построен дом, позднее купленный Тютчевым. Тем не менее, Баратынский все-таки продолжал время от времени наведываться в Москву и встречаться со старыми друзьями. К 1827 году относятся воспоминания одной из московских жительниц:

«Мы увидали Пушкина с хором Благородного Собрания. Внизу было многочисленное общество, среди которого вдруг сделалось особого рода движение. В залу вошли два молодых человека. Один был блондин, высокого

роста; другой брюнет – роста среднего, с черными кудрявыми волосами и выразительным лицом.– „Смотрите, сказали нам: блондин – Баратынский, брюнет – Пушкин“. Они шли рядом, им уступали дорогу».

Это достаточно яркий штрих, показывающий, какой любовью и популярностью пользовались оба поэта. В жизни их нередко тянуло друг к другу: Пушкин звал Баратынского в Михайловское, ему наедине читал «Бориса Годунова»; с ним совершил тризну по Дельвигу; его пригласил на «мальчишник» накануне свадьбы. Когда умер Дельвиг, Пушкин сам назвал Баратынского в числе немногих близких людей, оставшихся у него на земле.

Вот высказывания Пушкина о любимом поэте-современнике:

«Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности... Никто более не вложил чувства в свои мысли и более вкуса в свои чувства. Они в нем неразделимы... Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит».

Занятная, однако, оговорка. А Пушкин себя, похоже, относил к обычным, неоригинальным, то есть не-мыслящим поэтам? Готова согласиться с этим мудрым наблюдением.

Известность же Баратынского, как поэта, началась после издания, в том же 1826 году, его поэм «Эда» и «Пир», а в следующем году – первого собрания лирических стихотворений, итога первой половины его творчества. Несмотря на скептические голоса критиков, желавших видеть «второго Пушкина», Баратынский был общим согласием признан одним из лучших поэтов своего времени и стал желанным автором всех лучших журналов и альманахов. Хотя в отличие от своего друга Пушкина, Баратынский писал мало, долго работая над своими стихами и часто коренным образом переделывая уже напечатанные.

Баратынский уже был женат и, казалось, окончательно расстался с обольщениями губительной страсти к обманчивой Фее-Клеопатре. Но, вероятно, память сердца жила, а быть может, возникали и ситуации, когда он мог встречать в обществе Аграфену Фёдоровну, еще не успевшую, несмотря на рождение дочери, превратиться в благочинную мать семейства. Ведь именно в эти годы она кружила головы Вяземскому и Пушкину. И в какой-то момент родились уже прощальные строки Баратынского, обращенные к Закревской:

«Нет, обманула вас молва,  
По-прежнему дышу я вами,  
И надо мной свои права  
Вы не утратили с годами.  
Другим курил я фимиам,  
Но вас носил в святыне сердца;  
Молился новым образам,  
Но с беспокойством староверца».

Объясните мне, ради Бога, почему эти строки забыты, почему их сочли слабее и хуже мотыльково-порхающих пушкинских безделок, из коих на три четверти состоит полное собрание сочинений Нашего Всего? Я спрашиваю еще и потому, что поэма Баратынского «Бал» была впервые издана в 1828 году под одной обложкой с поэмой Пушкина «Граф Нулин». Эти две поэмы и сравнивать-то невозможно, настолько первая глубже и сильнее второй, а вот поди ж ты – «Бал» забыт, «Граф» известен всем любителям и ценителям поэзии пушкинской поры.

Но вот еще более странная загадка: в 1831 году выходит в свет третья поэма Баратынского – «Наложница». Герой поэмы Елецкий выглядит родным братом Евгения Онегина:

«Отца и матери Елецкой  
Лишился в годы те, когда  
Обыкновенно жизни светской  
Нам наступает черед.  
В нее вступил он, и сначала  
Являлся в вечер на три бала;  
С визитной карточкой порой  
Летел на выезд городской.  
Согласно с общим заведеньем,  
К дядям и теткам с поздравленьем  
И в Рождество, и в Новый год,  
Скакал с прихода на приход.  
У них в беседах самых чинных  
Без нетерпенья заседал,  
И на обедах именинных  
Прибор всегдашний занимал...»

Затем герою надоели светские развлечения, он отправился путешествовать, пресытился и этим, вернулся в Петербург и вместо чинных светских забав пристрастился к малопристойным кутежам до рассвета, да еще завел себе любовницу-цыганку, открыто поселив ее в своем доме. Такая жизнь, разумеется, тоже вскоре приелась и тут герой встретил в театре красавицу Веру – девушку-сироту строгих правил, живущую под опекой дяди.

Елецкий тут же влюбился, начал изобретать тысячи способов увидеться с предметом своей страсти (в том числе, признается ей в любви на балу-маскараде), обманом проникнув в дом Веры, убедил ее, что необходимо тайно венчаться, ибо дядя ни за что не позволит ей выйти замуж за человека с безнадежно испорченной репутацией и вернулся домой, чтобы все приготовить к вечеру.

Наложница-цыганка, обезумев от ревности, колдовством лишила жизни своего неверного любовника, а сама убежала в родной табор и там окончательно сошла с ума. Вера, тайком отплакавшись, сделалась еще холоднее и благовоспитаннее и смиренно осталась дожидаться жениха, которого угодно будет избрать ее дядюшке...

Поэма в десять раз короче «Евгения Онегина» и во столько же раз содержательнее. Баратынский не отвлекается на воспоминания о милых ножках и профилях, не вставляет в поэму длинные обращения к друзьям и «философские отступления». Но вот странно: «Онегина» знают все, «Наложницу» – практически никто. Нигде, ни в одном из многочисленных комментариев к знаменитому «роману в стихах» нет даже намека на написанную гораздо раньше (и уже опубликованную) поэму. И сам Александр Сергеевич молчит, как заговоренный, словно не он еще совсем недавно не восторгался чуть ли не каждой строкой Баратынского.

Характерно еще и то, что герои поэм Баратынского – почти исключительно люди «падшие»; такова «добренькая Эда», отдавшаяся соблазнительно-офицеру; такова Нина («Бал»), переходившая от одного любовника к другому; таков Елецкий («Наложница»), составивший себе «несчастный кодекс развратных, своевольных правил», и особенно его подруга «наложница-цыганка». Найти искры живой души в падших, показать, что они способны на благородные чувства, сделать их привлекательными для читателя, – такова задача, которую ставил себе Баратынский в своих поэмах, и которой никогда и ни в одном произведении даже не пытался поставить Пушкин.

В 1835 году выходит в свет второй сборник стихов Баратынского с его портретом. И хотя внешне его жизнь проходила без видимых потрясений, по некоторым стихотворениям становится понятно, что в эту пору он пережил какую-то новую любовь, которую называет «омра-

чением души болезненной своей». Иногда он пытается убедить себя, что остался прежним, восклицая: «свой бокал я наливаю, наливаю, как наливал!». Замечательно, наконец, стихотворение «Бокал», в котором Баратынский рассказывает о тех «оргиях», которые он устраивал наедине с самим собой, когда вино вновь будило в нём «откровенья преисподней».

«Полный влагой искрометной,  
Зашипел ты, мой бокал!  
И покрыл туман приветный  
Твой озябнувший кристалл...  
Ты не встречен братьей шумной,  
Буйных оргий властелин, —  
Сластолюбец вольнодумный,  
Я сегодня пью один...»

Сборник оказался непонятым ни критиками-современниками, ни более поздними литераторами. Словарь Брокгауза и Эфрона, литературные статьи которого были, в основном, почерпнуты из произведений Белинского (о «неистовом Виссарионе – чуть позже) уже в конце девятнадцатого века дал совершенно убийственную характеристику творчеству Баратынского:

«Как поэт, он почти совсем не поддаётся вдохновенному порыву творчества; как мыслитель, он лишён определённого, вполне и прочно сложившегося миросозерцания; в этих свойствах его поэзии и заключается причина, в силу которой она не производит сильного впечатления, несмотря на несомненные достоинства внешней формы и нередко – глубину содержания...»

То есть, говоря современным языком, стихи Баратынского «не цепляли» читателей и критиков так, как написанные в то же время куда более слабые стихи Пушкина; например, «Туча»:

«Последняя туча рассеянной бури!  
Одна ты несешься по ясной лазури,  
Одна ты наводишь унылую тень,  
Одна ты печалишь ликующий день...»

Прибавлю к этому еще и то, что имя Пушкина было у всех на слуху после его женитьбы на красавице Гончаровой и в связи бесчисленными скандалами, всюду ему сопутствовавшими. Опять же прибегаю к современным понятиям: Александр Сергеевич был круто распиарен, Евгения Абрамовича знала лишь горстка настоящих любителей поэзии.

Ничто, однако, не поколебало его решимости «идти новою собственной дорогою», то есть прежде всего, считал он, вырваться из-под всеобъемлющего (мировоззренческого, тематического, стилевого) влияния Пушкина, открыть свою тему и дать оригинальное поэтическое решение ее.

Баратынский, в свою очередь, с преклонением относился к своему великому другу, но не все его произведения ему нравились. Восхищаясь «Полтавой», «Борисом Годуновым», «Повестями Белкина», он находил слабым величайшее творение Пушкина – «Евгений Онегин». Об их личных отношениях лучше всего сказал сам Пушкин в письме к П. А. Плетневу, получив известие о смерти Дельвига, их общего друга:

«Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и всё».

У Баратынского и Пушкина было много общего, прежде всего – сходное социальное положение, чем, возможно, объяснялась и параллельность основных линий их творчества: оба начали подражанием господствующим образцам начала века – эротико-элегической поэзии Батюшкова, элегиям Жуковского; оба прошли стадию романтической поэмы; наконец, последний период в творчестве обоих окрашен отчетливым реалистическим стилем письма.

Приезжая в Москву, Пушкин часто виделся с Баратынским. Отношения между ними внешне – самые близкие. Но в этих приятельских отношениях тем не менее обоими ощущается какой-то холодок. Баратынский отмечает это в письме к Вяземскому (апрель 1829), Пушкин – в письме к жене (май 1836):

«Баратынский... очень мил. Но мы как-то холодны друг к другу».

Они были ровесниками. Оба – выдающиеся поэты. Читали друг друга с ревнивым восхищением. Но, вероятно, то ли разность характеров, то ли тень затаенного соперничества всю жизнь мешала им стать друзьями.

Баратынского стали прямо обвинять в зависти к Пушкину; критики высказывали также предположение, что Сальери Пушкин списал с Баратынского. Вот уж действительно единственная кандидатура на прототип друга Моцарта! Тем паче, что Евгений Абрамович никогда не отзывался о Пушкине не то чтобы негативно – даже иронически, не распространял сплетен и не писал на него эпиграмм.

Основой для такого предположения послужило, якобы, признание самого Баратынского. Нет, не в зависти к Пушкину. В письме одному из близких друзей он еще в 1825 году делился своими сокровенными мыслями об осознании самого себя как личности в связи с судьбой и характером:

«На Руси много смешного; но я не расположен смеяться, во мне веселость – усилие гордого ума, а не дитя сердца. С самого детства я тяготился зависимостью и был угрюм, был несчастлив. В молодости судьба взяла меня в свои руки. Всё это служит пищею гению; но вот беда: я не гений. Для чего же всё было так, а не иначе? На этот вопрос захохотали бы все черти. И этот смех служил бы ответом вольнодумцу; но не мне и не тебе: мы верим чему-то. Мы верим в прекрасное и добродетель. Что-то развитое в моем понятии для лучшей оценки хорошего, что-то улучшенное во мне самом – такие сокровища, которые не купят ни богач за деньги, ни счастливец счастьем, ни самый гений, худо направленный. Прощай, милый Путята, обнимаю тебя от всей души».

И вот на этом признании: «я не гений» и строились предположения о том, что Баратынский завидовал Пушкину, который, наоборот, кричал о своей гениальности на всех углах и ни секунды в ней не сомневался. Ну, чем не Моцарт и Сальери?

Да хотя бы тем, что у Пушкина Моцарт постоянно сомневается в своей гениальности. А в его окружении было полным-полно бездарей, мучительно желавших прославиться и столь же мучительно завидовавших Пушкину.

Да и в каких временах были иные нравы и разве так уж сильно они сейчас изменились к лучшему сейчас? Оглянешься – то тень, то профиль Сальери... Моцартов, правда, практически нет. Но я отвлеклась.

На смерть Пушкина Баратынский отозвался строками, почти в точности повторявшими слова Пушкина о самом Баратынском:

«Мы лишились таланта первостепенного...»

Смерть Пушкина произвела огромное впечатление на Баратынского:

«Естественно ли, что великий человек, в зрелых годах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик? Сколько тут вины его собственной, чужой, несчастного предопределения? В какой внезапной неблагосклонности к возникающему голосу России провидение отвело око свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще бывшего ее великою надеждою? Он только что созрел. Что мы сделали, Россияне, и кого погребли!»

Круг друзей Баратынского становился все уже. Поэт жил то в Москве, то в своём имении Мураново, много занимался хозяйством. Изредка ездил в Петербург (где в 1839 году познакомился с Михаилом Лермонтовым), в обществе был ценен как интересный и иногда блестящий собеседник. Работал над своими стихами, придя окончательно к убеждению, что «в свете нет ничего дельнее поэзии».

Последние годы Баратынского ознаменованы нарастающим одиночеством и в литературе. В 1842 году Баратынский издал свой последний, самый сильный сборник стихов – «Сумерки. Сочинение Евгения Баратынского», посвящённый князю Вяземскому.

Эту книгу часто называют первой в русской литературе «книгой стихов» или «авторским циклом» в новом понимании, что будет характерно только для поэзии начала следующего века. Но она же привела к новому удару судьбы, от которого Баратынский оправиться не смог.

На фоне и вообще пренебрежительного тона критики на сборник удар нанёс молодой, но уже авторитетный Белинский, решивший, что Баратынский в своих стихах восстал против науки и просвещения. Это было больше, чем глупостью..

В стихотворении «Пока человек естества не пытал» Баратынский только развивал мысль своего юношеского письма: «Не лучше ль быть счастливым невеждою, чем несчастным мудрецом».

Баратынский не стал возражать на критику Белинского, но памятником его настроения той поры осталось замечательное стихотворение «На поседе леса». Баратынский говорит в нем, что он «летел душой к новым племенам» (т.е. к молодым поколениям), что он «всех чувств благих подавал им голос», но не получил от них ответа.

В конце тридцатых годов Баратынский, – о чем так тщетно мечтал в последние годы Пушкин, – устроил «приют от светских посещений, надёжной дверью запертой» в подмосковном имении Мураново, куда переселился с семьёй. В письме Плетневу в 1839 году Баратынский подводит итоги:

«Эти последние десять лет существования, на первый взгляд не имеющего никакой особенности, были мне тяжелее всех годов моего финляндского заточения... Хочется солнца и досуга, ничем не прерываемого уединения и тишины, если возможно, беспредельной».

А в эти десять лет вместились, помимо семейных забот и праздников, встречи с Пушкиным и Вяземским, знакомство с Чаадаевым и Мицкевичем, смерть Пушкина, слава и смерть Лермонтова (о котором Баратынский вообще нигде и никогда не обмолвился ни словом), повести Гоголя (которые он приветствовал). Нелегкий, «разборчивый», взыскательный характер вкупе с некоторыми творческими задачами, поставили Баратынского в особое, обособленное положение и в жизни, и в литературе: он, по замечанию Гоголя, «стал для всех чужим и никому не близким».

Жена, которую он очень любил, была человеком интересным и преданным ему, но не могла заменить утраченные надежды и дружбы. Отказ от «общих вопросов» в пользу «исключительного существования» вел к неизбежному внутреннему одиночеству и творческой изоляции. Только высокая одаренность и замечательное стремление к самообладанию помогли Баратынскому достойно ответить на вызов, брошенный ему «судьбой непримиримой».

Осенью 1843 года Баратынский осуществил свое давнее желание – вместе с двумя старшими детьми предпринял путешествие за границу. Он посетил Германию, зиму 1843—1844 годов провел в Париже.

Весной 1844 года Баратынские отправляются через Марсель морем в Неаполь, в Италию, которую поэт любил с детства, наслушавшись о ней от своего воспитателя-итальянца. Перед отъездом из Парижа Баратынский чувствовал себя нездоровым, и врачи предостерегали его от влияния знойного климата южной Италии. Едва Баратынские прибыли в Неаполь, как с А. Л. Баратынской сделался один из тех болезненных нервных припадков, которые причиняли столько беспокойства ее мужу и всем окружающим. Это так подействовало на Баратынского, что у него внезапно усилились головные боли, которыми он часто страдал, началась лихорадка, и на другой день, 29 июня (11 июля) 1844 года, он скоропостижно скончался.

Смерть прервала его голос, может быть, именно «в высших звуках», ибо в «Пиротоскафе» (1844), открыто мажорном, «италийском», есть явно итоговые, но и устремленные в будущее строки:

«Много земель я оставил за мною;  
Вынес я много смятенной душою  
Радостей ложных, истинных зол,  
Много мятежных решил я вопросов,  
Прежде чем руки марсельских матросов  
Подняли якорь, надежды символ!..»

Из Неаполя тело поэта перевезли на родину и похоронили на Тихвинском кладбище в Александро-Невской лавре.

Газеты и журналы почти не откликнулись на смерть поэта. Хотя они и на смерть Пушкина промолчали...

Глубоко-своеобразная поэзия Баратынского была забыта в течение всего столетия, и только в самом его конце символисты, нашедшие в ней столь много родственных себе элементов, возобновили интерес к творчеству Баратынского, провозгласив его одним из трех величайших русских поэтов наряду с Пушкиным и Тютчевым. Последним, пожалуй, о великом поэте вспомнил Осип Мандельштам:

«Хотел бы я знать, кто из тех, кому попадутся на глаза строки  
Баратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда  
неожиданно окликнут по имени».

Беда в том, что строки Баратынского чрезвычайно редко попадают кому-либо на глаза, ослепленные раз и навсегда солнцем русской поэзии.

Поправьте меня, если я ошибаюсь.

## Воронежская ласточка

*О, в эти дни – дни роковые,  
Дни испытаний и утрат-  
Отраден будь для ней возврат  
В места, душе ее родные!  
Пусть добрый, благосклонный гений  
Скорей ведет навстречу к ней  
И горсть живых еще друзей,  
И столько милых, милых теней!*

**Ф. И. Тютчев «Графине Ростопчиной» 16 октября 1855**

«Воронежская ласточка» – так любовно называли друзья Евдокию Петровну Ростопчину, русскую поэтессу, современницу Пушкина, Жуковского, Вяземского, Лермонтова... Ее талант признавали все ее современники, а это Гоголь, Лермонтов, Крылов, Чаадаев, Тютчев, Брюллов и еще многие из тех, кого принято называть корифеями русской культуры.

Принято считать, что женская русская поэзия началась с Серебряным веком. Ничего подобного! Почти за сто лет до него в поэзии звучали женские голоса, ничем не уступавшие мужским по уровню таланта.

Евдокия Ростопчина – одна из самых ярких звезд на поэтическом небе России середины девятнадцатого века. Она писала не только о любви, хотя без нее, разумеется, обойтись не могла – в поэзии. Ее стихи – многогранны и удивительно современные, хотя критика тех времен и упрекала поэтессу в последние годы ее жизни, что она «отстала от времени».

Возможно, от своего времени она действительно отстала. Зато осталась – во всех временах.

Ее Бог весть, почему называли «московской Сафо». За красоту? Она не была красавицей. За стихи, похожие, по мнению поэта Серебряного века Владислава Ходасевича, на «романс, таящий в себе особенное, ему одному свойственное очарование, которое столько же слагается из прекрасного, сколько из изысканно-безвкусного»? Ее стихи не вмещаются в рамки романса, а уж безвкусность оставим на совести Ходасевича. За драматичную судьбу? Возможно, но подробностей ее личной жизни почти никто не знал. А может быть, виной тому та женственность, которую она не уставала воспевать, и которая так раздражает людей, не понимающих этого качества:

*«А я, я – женщина во всем значенье слова,  
Всем женским склонностям покорна я вполне;  
Я только женщина, – гордиться тем готова,  
Я бал люблю!.. отдайте балы мне!»*

Евдокия Петровна Сушкова родилась 23 декабря 1811 года в Москве, в особняке своего деда по матери Ивана Александровича Пашкова на Чистых прудах. Шести лет девочка потеряла мать, та умерла от туберкулеза. А отец, Петр Васильевич Сушков, редко бывал дома, в основном был занят работой. Девочка находилась на попечении деда, бабушки и многочисленных тетюшек. Росла в любви, холе, богатстве. Ее воспитывали для света, а потому дали прекрасное домашнее образование.

Додо – так она в детстве произносила свое имя и так ее впоследствии звали друзья и близкие – знала все европейские языки, много читала, музицировала, рисовала, прекрасно танцевала. Барышни в то время вели дневники, это была возможность выразить себя, познать себя... в общем, это было модно. Додо в дневник записывала... стихотворения, причем в тайне от род-

ных: для благородной барышни это занятие считалось почти позорным. И вообще в доме Пашковых занятие литературой считалось делом неприличным.

«Возмущённая при мысли, что девушка аристократического круга могла, посвящать свой досуг недостойному занятию, госпожа Пашкова, взяв икону, хотела заставить свою внучку дать торжественный обет, что та никогда не станет писать стихов. Моя мать избавилась от клятвы, обещав ничего не печатать до своего замужества» – писала дочь Додо Лидия Ростопчина в своей книге «Семейная хроника».

И все равно своенравная и скрытная Додо писала. Лидия первым произведением матери называет «Журнал Зинаиды». Увы, журнал не сохранился. Тот же Владислав Ходасевич в исследовании «Графиня Е. П. Ростопчина. Её жизнь и лирика» пишет в 1922 году:

«Ещё в 12 лет Додо сама стала писать стихи. Как водится, своевременно была написана и сожжена первая подражательная поэма „Шарлотта Кордэ“. Ни эта поэма, ни ранние стихи, кроме одного французского экспромта, до нас не дошли».

Действительно, первое сохранившееся стихотворение – «К страдальцам» - датировано 1827 годом. Шестнадцатилетняя девушка посвятила его... декабристам.

«Пусть вас гнетет, казнит отмщенье самовластья,  
Пусть смеют вас винить тирановы рабы,  
Но ваш тернистый путь, ваш крест – он стоит счастья,  
Он выше всех даров изменчивой судьбы...  
Удел ваш – не позор, а слава, уваженье,  
Благословения правдивых сограждан,  
Спокойной совести, Европы одарение,  
И благодарный храм от будущих славян!».

Пройдет немало времени, прежде чем Ростопчина преподнесет это стихотворение и созвучное ему «Мечту» с теплой подписью вернувшимся из Сибири Волконскому и Чернышеву. А пока стихотворения ходили по гостиним в анонимных списках. Никому и в голову не могло прийти, что их автор в это время прилежно берет уроки танцев у знаменитых учителей и ездит на так называемые «детские праздники», где девушки и юноши постигают азы светской жизни.

Судьбе было угодно распорядиться так, чтобы на одном из таких праздников Додо повстречала невысокого молчаливого мальчика с темными «сумеречными» глазами. Мальчика звали Мишелем, и он тоже тайно писал стихи. Оба вспомнили эту встречу, когда спустя много лет в одном из великосветских салонов уже знаменитый поэт Лермонтов был представлен блистательной графине Ростопчиной. Но всему свое время.

Пока же кумиром юной Додо был, разумеется, Пушкин. Она знала на память едва ли не все его известные стихотворения. И тайне надеялась на встречу с вернувшимся из долгой ссылки поэтом: Пушкин знался со всей ее родней и разве что случайно еще не успел побывать в их доме.

8 апреля 1827 года – она запишет для себя этот день и будет его помнить до конца жизни. Ничто не предвещало чуда. Все семейство Сушковых собиралось на модное гуляние под Новинским. Не побывать там на Рождество, Святки или Масленую настоящие москвичи не могли себе позволить. От Садово-Кудринской площади в сторону Смоленской-Сенной по правую сторону выстраивались рестораны и палатки со всяческими лакомствами.

И вот среди этого шума, веселья, беспорядочной толчеи, взрывов смеха Додо Сушкова увидела:

«Вдруг все стеснилось, и с волнением  
Одним стремительным движением  
Толпа рванулася вперед...  
И мне сказали: «Он идет»...  
Он – наш поэт, он – наша слава,  
Любимец общий! Величавый  
В своей особе небольшой,  
Но смелый, ловкий и живой,  
Прошел он быстро предо мной...»

Когда следующей зимой юную Евдокию Сушкову родные начали вывозить в свет, на одном из декабрьских балов в доме Д. В. Голицына ей представят Пушкина. Танцы были забыты – едва ли не час Пушкин беседовал с Додо, как с равной. И не только о ее стихах, которые оказались известны Пушкину – обо всем, что одинаково волновало их умы и души. Всегда насмешливый Пушкин ни разу не позволит себе тени легкомыслия или иронии в отношении «преlestной поэтессы». Во-первых, и прежде всего, поэтесса.

«На бале блестящем, в кипящем собрание,  
Гордясь кавалером и об руку с ним,  
В тот вечер прекрасный весь мир озлащался...»

Так впоследствии описала Ростопчина свою первую встречу с прославленным поэтом России. Этот момент многое решил в жизни начинающего автора.

«Стихи без искусства ему я шептала,  
Он исповедь слушал души молодой!»...

Но даже самой себе юная поэтесса не признавалась в том, насколько сильное впечатление произвел на нее Пушкин. Впечатление на всю жизнь. Только в строках, написанных после гибели поэта, она приоткроет завесу тайны:

«Слова его в душу свою принимая,  
Ему благодарна всем сердцем была я...  
И много минуло годов с того дня,  
И много узнала, изведала я, —  
Но живо и ныне О НЕМ вспоминанье;  
Но речи поэта, его предвещанье  
Я в памяти сердца храню как завет  
И ими горжусь... хоть его уже нет!..»

Перед Додо проходили московские увлечения поэта. Их немало, но ни разу она не сделает попытки обратить на себя внимание своего кумира. Она уверена: любовь, чувство зарождаются сами и, если они настоящие, не терпят насилия. В разгуле страстей чистое спокойное пламя ее привязанности не находит себе места, даже по признанию самой поэтессы, не ищет его.

А потом в жизни поэта появилась Натали Гончарова. Любящим сердцем Додо угадывала, насколько нелегким будет это чувство. Может быть, лучше других понимала характеры и особенности душевные участников будущей драмы. Но Додо не только не выдала своих чувств,

а с удивительным добросердечием отнеслась к Натали. Не завидовала, не ненавидела – стремилась ободрить, помочь.

Правда, весной 1832 года было написано стихотворение «Отринутому поэту». В нем Додо с потрясающей пронизательностью заметила:

«Она не поняла поэта!  
Но он зачем её избрал?  
.....  
Зачем он так неосторожно  
Был красотою соблазнён?  
Зачем надеждою тревожной  
Он упивался, ослеплен?  
И как не знать ему заране,  
Что все кокетки холодны.  
Что их могущество в обмане.  
Что им поклонники нужны.  
.....  
Она лишь слепок божества!»

Почти не зная настоящей жизни молодая девушка удивительно точно описала истоки будущей трагедии Пушкина. Как знать, что произошло бы, сделай Пушкин предложение Додо, а не Натали. Но Дантеса и Черной речки точно бы – не было.

«Ее чувства были не по нашим меркам», – признавался брат Додо, Сергей Сушков, отмечавший, кстати, что его сестра «далеко не была красавицею в общепринятом значении этого выражения. Она имела черты правильные и тонкие, смугловатый цвет лица, прекрасные и выразительные карие глаза, волосы черные, выражение лица чрезвычайно оживленное. Подвижное, часто поэтически-вдохновенное, добродушное и приветливое лицо; рост ее был средний, стан не отличался стройностью форм. Она была привлекательна, симпатична и нравилась не столько своей наружностью, сколько приятностью умственных качеств. Одаренная щедро от природы поэтическим воображением, веселым остроумием, необыкновенной памятью, при обширной начитанности на пяти языках, она обладала замечательным даром блестящего разговора и простосердечною прямою характера при полном отсутствии хитрости и притворства, она естественно нравилась всем людям интеллигентным».

Да, она была очаровательна, романтична, но не только эти черты собирали вокруг Евдокии Петровны толпы поклонников. Не о юной светской красавице думал, например, Николай Огарев, едва не каждый день приезжавший в дом на Чистых прудах. Общность взглядов, мыслей, литературных увлечений казалась дороже всего остального.

Первым опубликованным стихотворением юной девушки стал «Талисман». Князь Пётр Андреевич Вяземский посещавший дом её родных случайно увидел тетрадь, без ведома девушки переписал стихи и отправил в Петербург Дельвигу, который и поместил их в своем альманахе «Северные цветы» 1831 года с подписью «Д...а».

«Есть талисман священный у меня.  
Храню его: в нем сердца все именье,  
В нем цель надежд, в нем узел бытия,  
Грядущего залог, дней прошлых упоенье.  
Он не браслет с таинственным замком,  
Он не кольцо с заветными словами,  
Он не письмо с признаньем и мольбами,

Не милым именем исполненный альбом,  
И не перо из белого султана,  
И не портрет под крышею двойной...  
Но не назвать вам талисмана,  
Не отгадать вам тайны роковой.  
Мне талисман дороже упования,  
Я за него отдам и жизнь, и кровь:  
Мой талисман – воспоминанье  
И неизменная любовь!»

Ее брат и самый точный биограф писал впоследствии:

«Она обладала редкою, замечательною легкостью сочинять стихи, и многие из ее мелких стихотворений вылились у нее экспромтом; при обладании вместе с тем необыкновенною памятью нередко случалось ей складывать в уме длинные стихи в несколько страниц, которые позднее, на досуге, она записывала быстро и без остановки, точно как бы под диктовку. Я бывал иногда свидетелем, во время наших поездок с нею вдвоем между Москвою и селом Вороновом, где Ростопчины всегда проводили лето, как она, прислонясь головою в угол кареты и устремив неподвижный взор в пространство, начинала сочинять стихи, а вечером или же на другой день прямо записывала их».

Не остался равнодушным к очарованию Додо Сушковой и старый знакомый – юный Михаил Лермонтов:

«Умеешь ты сердца тревожить,  
Толпу очей остановить,  
Улыбкой гордой уничтожить,  
Улыбкой нежной оживить;  
Умеешь ты польстить случайно  
С холодной важностью лица  
И умника унижить тайно,  
Взяв пылко сторону глупца!  
Как в Талисмане стих небрежный,  
Как над пучиною мятежной  
Свободный парус челнока,  
Ты беззаботна и легка.  
Тебя не понял север хладный;  
В наш круг ты брошена судьбой,  
Как божество страны чужой,  
Как в день печали миг отрадней!»

Тем не менее, заботливые родственники меньше всего думают о литературных дарованиях Додо; их мысли заняты поисками блестящей партии для юной интеллектуалки. Выбор родных пал на сына бывшего московского генерал-губернатора Ф. В. Ростопчина, графа Андрея, богатого, доброго широко известного в Москве. Правда, Пашковы испытали некоторый шок, когда узнали, что жениху, выглядевшему лет на тридцать с изрядной лысиной, всего... девятнадцать лет, то есть он на два года моложе невесты.

«Несмотря на свою преждевременную плешь, мой отец умел нравиться, когда желал, он имел важную осанку прекрасный рост, блестящий и игривый ум...» – писала впоследствии Лидия Ростопчина.

Так что свадьба состоялась 28 мая 1833 года и невеста отнюдь не выглядела несчастной. Из-под венца молодые уехали в родовую усадьбу Ростопчиных – село Анна Воронежской области. Впоследствии это место станет излюбленным убежищем для уже признанной поэтессы Ростопчиной. Но пока у тоненькой черноглазой девушки закончилась та пора, о которой она писала в своем стихотворении «Три поры жизни»:

«Была пора: во мне тревожное волнение,  
Как перед пламенем в вулкане гул глухой,  
Кипело день и ночь; я вся была в стремленье...  
Я вторила судьбе улыбкой и слезой.  
Удел таинственный мне что-то предвещало;  
Я волю замыслам, простор мечтам звала...  
Я все высокое душою принимала,  
Всему прекрасному платила дань любви, —  
Жила я сердцем в оны дни!»

В Анне Ростопчины прожили три года, иногда ненадолго выезжая в Вороново – (ещё одно родовое имение мужа) и на Кавказские минеральные воды. Здесь – вдали от столичной суеты – шло развитие её таланта, развитие самой души. Молодая графиня писала стихи и прозу, писала пока для себя.

«Это не книга – это исповедание, совершенно искреннее и совершенно женское, впечатлений, воспоминаний, восторгов сердца молодой девушки и женщины, её мыслей и мечтаний, всего, что оно, видимо, чувствовало, поняло – наконец, эти страницы – одно из тех интимных повествований, которые осмелишься доверить только душе близкой...» – так писала она о своем творчестве...

Принято считать, что граф Андрей был абсолютно равнодушен к литературным дарованиям своей супруги. Это, мягко говоря, неверно. Еще до свадьбы Ростопчин входил в круг поклонников поэтического таланта Додо. А со временем стал известным библиографом, книжным знатоком и даже почетным членом Петербургской Публичной библиотеки.

С 1834 года стихи Евдокии Ростопчиной стали появляться в московских журналах и сразу были отмечены читателями. Появились и первые критики. П. А. Вяземский в письме к Александру Тургеневу пишет по поводу напечатанного в «Московском наблюдателе» стихотворения «Последний цветок»:

«Каковы стихи? Ты думаешь Бенедиктов? Могли бы быть Жуковского, Пушкина, Баратынского, уж верно, не отказались бы они от них. И неужели сердце твоё не забилося радостью Петровского и Чистых прудов и не узнал ты голоса некогда Додо Сушковой?... Какое глубокое чувство, какая простота и сила в выражении и между тем столько женского!»

Осенью 1836 года чета Ростопчиных поселяется в Санкт-Петербурге. Имя графини окружено громкой славой. Журналы охотно предоставляют свои страницы ее поэзии, критики не скупятся на восторженные похвалы. Ростопчина не претендовала на обычный столичный салон. У нее превосходная кухня, и ростопчинские обеды собирают всех самых знаменитых литераторов. Включая, разумеется, Пушкина.

Впрочем, Александр Сергеевич заметил как-то, что насколько Ростопчина превосходно пишет, настолько же неинтересно она говорит. Поэту в голову не пришло, что все дело в растерянности, которую испытывает перед ним графиня. Быть в его обществе просто светской женщиной она не умеет, а литературные беседы ее, так привлекавшие и Николая Огарева, и Жуковского, и впоследствии Лермонтова, были для Ростопчиной невозможными именно с Пушкиным.

Как можно запросто беседовать с тем, кого боготворишь?

В петербургском доме Ростопчиных бывали и известные приезжие итальянские певцы, и великолепные музыканты – братья Виельгорские, Глинка, Даргомыжский. Круг литературных друзей расширяется за счет Вяземского, Тургенева, Владимира Одоевского, Плетнева, Соболевского, Соллогуба. Для Ростопчиной наступает вторая и самая счастливая, по ее собственному признанию, пора ее жизни:

«Потом была пора, – и света блеск лукавый  
Своею мишурой мой взор околдовал:  
Бал, – искуситель наш, – чарующей отравой  
Прельстил меня, завлѣк, весь ум мой обаял.  
Пирьы и праздники, алмазы и наряды,  
Головокружный вальс вполне владели мной;  
Я упивалась роскошной суетой;  
Я вдохновенья луч тушила без пощады  
Для света бальных свеч... я женщиной была, —  
Тщеславьем женским я жила!»

Светские успехи словно должны были отвлечь ее от мыслей и чувств, у которые были неуместны в великосветском обществе. Вот и пойми эти поэтические натуры!

В судьбе графини Ростопчиной немислимо разделить женщину и поэтессу, так все это сливалось в ней, порой заставляя ее саму грустить по поводу своего рождения женщиной. Необыкновенно любившая балы, обладавшая магнетической женственностью Евдокия Ростопчина еще и мастерски описала это торжество и сцену для женской роли – бал XIX столетья. Она нашла для этого события в жизни женщины яркие и поэтические краски:

«А газ горит. А музыка гремит,  
А бал блестит всей пышностью своею...»

Хотя порой это ее пристрастие казалось ей самой довольно странным:

«Зачем меня манит безумное разгулье,  
И диких сходбищ рев, и грубый хохот их?...»  
А вот уже женщина после бала:  
«Ее рассыпалась коса,  
И в мягких кольцах волоса  
Вокруг кистей, шнурков шелковых  
Причудливо сплелись, – с плечей  
Упала на пол шаль, – на ней,  
Близ туфель бархатных, пунцовых,  
Лежит расстегнутый браслет, —  
И банта радужного нет  
В прозрачных складках пеньюара...»

Пожалуй, только Бальзаку, великому знатоку женщин, удалось впоследствии так же талантливо живописать все эти милые, обычно скрытые от посторонних глаз, пустяки. А женщине... женщине были приятны и понятны все эти рюшечки и рюши, куафюры и перья, ленты и завитки, хотя и ясна их мелочная суть:

«Нас, женщин, соблазняет мода:  
У нас кружится голова;  
Тягло работало два года,  
Чтоб заплатить нам кружева;  
Мы носим на оборке бальной  
Оброк пяти, шести семей...»

«О красоте женщины можно судить не по пропорциональности ее тела, а по эффекту, производимому ею», – писала известная француженка мадам де Ламбер. И два бальных сезона именно по этому принципу Ростопчина занимала одно из первых мест среди петербургских светских красавиц. Бальные триумфы приятно щекотали тщеславие. Но светский шум, бал, успех в обществе быстро приелись.

Помимо этого, были и другие события, омрачавшие внешне беззаботную светскую жизнь молодой графини. Потрясение Ростопчиной происшедшим на Чёрной речке было велико. Ведь за день до рокового выстрела Пушкин обедал у Ростопчиных, находясь рядом с собеседницей, об этом свидетельствует писатель Бартенев со слов мужа Ростопчиной. До обеда и после него Пушкин убежал в умывальную комнату и мочил себе голову холодной водой, – до того мучил его жар в голове!

Сам Пушкин, конечно же, не мог забыть молодой поэтессы, которой он когда-то дал своё благословление. В 1837 году в «Современнике» появились стихи Ростопчиной «Эльбрус и я», «Месть» и другие. Несомненно, публикации содействовал сам редактор журнала. А в посвящении к своей драме «Дочь Донжуана» Евдокия Ростопчина прямо написала:

«...О, не забуду я,  
Что Пушкина улыбкой вдохновенной  
Был награжден мой простодушный стих...»

Для нее гибель поэта стала страшным ударом. Окруженная музыкой, масками, поклонниками, игрой страстей в столице, она теперь пыталась скрыть сердечную тоску и одиночество в не слишком счастливой супружеской жизни: даже рождение трех детей не принесло ожидаемого умиротворения.

Ростопчина решила уехать в деревню и там заниматься тем, что было ей всего ближе: творчеством. А незадолго до отъезда получила посылку от Жуковского с запиской, которая потрясла ее и окончательно утвердила в правильности выбранного пути:

«Посылаю вам, графиня книгу, которая может иметь для вас некоторую ценность. Она принадлежала Пушкину; он приговорил ее для новых своих стихов и не успел написать ни одного; мне она досталась из рук смерти; я начал ее; то, что в ней найдете, не напечатано нигде. Вы дополните и dokonчите эту книгу его. Она теперь достигла настоящего своего назначения».

В это время уже засверкал талант Лермонтова, жив был Баратынский, пробивалась молва о редком таланте Тютчева, но Жуковский вручил Пушкинскую тетрадь Ростопчиной. Впрочем,

не только Жуковский, но и другие литераторы и критики восторженно отзывались в эти годы о творчестве Евдокий Петровны.

«..Таких благородных, гармоничных, легких и живых стихов вообще немного в нашей современной литературе... произведения исполнены жизни и красок», – писал Плетнев, сменивший Пушкина на посту издателя «Современника».

А в апрельском номере «Московского наблюдателя» за 1838 год В.Г.Белинский отметил: «После этих двух стихотворений А. С. Пушкина, опубликованных в „Современнике“, замечательны только... „Тайные думы“ графини Е. Ростопчиной: в нем прекрасными, полными души и чувства стихами воспеваются достоинства одной высокой особы».

От таких отзывов могла бы вскружиться голова! Но Ростопчина осознавала недостаточность своих сил, громадную ответственность возложенной на нее миссии – продолжателя пушкинской традиции в поэзии. Поэтому, взволнованная доверием Жуковского, ответила ему:

«И мне, мне сей дар! – мне, слабой, недостойной,  
Мой сердца духовник пришел его вручить,  
Мне песнью робкою, неопытной, нестройной  
Стих чудный Пушкина велел он заменить!  
Но не исполнить мне такого назначенья,  
Но не достигнуть мне желанной вышины!  
Не все источники живого песнопенья,  
Не все предметы мне доступны и даны...»

Известно, что с 1838 года до осени 1840 года Ростопчина провела в Анне, выезжая летом ненадолго в Вороново и в Пятигорск. Но эти поездки были непродолжительными, а рифмы охотнее и легче всего приходили к поэтессе на дорожках старого анненского парка, под шорох опадающих листьев, хруст снега, весенние птичьи трели. Она еще молода, и обет уединения поэтом порой бывает тягостен. Но все-таки именно в деревенской глуши было написано большинство стихотворений, прославивших Ростопчину.

А в 1841 году Евдокия Петровна вернулась в Санкт-Петербург с готовым к печати сборником стихотворений «Талисман». Успех книги превзошел самые смелые ее ожидания: друзья, знакомые, университетская молодежь – все в восторге от свежести её таланта. Её стихи заучивали наизусть. На тексты её стихов более ста композиторов писали романсы: Алябьев, Булахов, Даргомыжский, Рахманинов, Рубинштейн, Чайковский.

Плетнев писал о Ростопчиной:

«Как я удивляюсь ее таланту! Взяв книгу её в руки, трудно оторваться от чтения... Для неё поэзия то же, что для живого существа воздух... Она, без сомнения, первый поэт теперь на Руси».

Сама Ростопчина в одном из стихотворений так определяет поэзию:

«Поэзия – она благоуханье  
И фимиам восторженной души.  
Но должно ей гореть и цвести в тиши...»

Вышел первый поэтический сборник, готова к печати первая книга прозы. Начиналась третья пора ее жизни:

«Но третья пора теперь мне наступила, —

Но демон суеты из сердца изженен,  
Но светлая мечта Поэзии сменила  
Тщеславья гордого опасно-сладкий сон.  
Воскресло, оживо святое вдохновенье!..  
Дышу свободнее; дум царственный полет  
Витает в небесах, и Божий мир берет  
Себе в минутное, но полное владенье;  
Не сердцем – головой, не в грезах – наяву,  
Я мыслию теперь живу!»

Но ее точно преследует какой-то злой рок: еще один избранный ею поэт внезапно и трагически ушел из жизни.

Знакомство с Лермонтовым, который был всего на три года моложе Ростопчиной, относилось еще к годам ее «московского житья». Но с тех пор произошло слишком многое в жизни обоих. Лермонтов поплатился за свои строки на гибель Пушкина, успел побывать на Кавказе и снова стать причиной императорского гнева. В эти дни он часто бывал у графини. Воспоминания и рассказы Ростопчиной об их общем кумире особенно трогали его.

«Отпуск его подходил к концу, – вспоминала впоследствии Ростопчина. – Лермонтову очень не хотелось ехать, у него были всякого рода дурные предчувствия. Наконец около конца апреля или начала мая мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути. Я одна из последних пожала ему руку... Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его казавшимися пустыми предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце».

Поэты обменялись посвященными друг другу посланиями. Стихотворение Ростопчиной называлось «На дорогу», лермонтовское давно известно всем его читателям:

Я верю, под одной звездой  
Мы с вами были рождены;  
Мы шли дорогою одною.  
Нас обманули те же сны...  
Предвидя вечную разлуку,  
Боюсь я сердцу волю дать,  
Боюсь предательскому звуку  
Мечту напрасную верить...»

5 июня 1841 года Лермонтова не стало. Ростопчина отозвалась на эту новую потерю строками:

«Поэты русские свершают жребий свой,  
Не кончив песни лебединой...»

Ростопчиной всего-то тридцать лет. Но груз потерь и разочарований так велик, что, кажется, ей уже не удастся оправиться. Бесследно исчезла романтика юности. Зато слава – поднимается в зенит. И одновременно приходит новая любовь: неожиданная, глубокая и... запретная для замужней женщины.

С сыном известного историографа Николая Михайловича Карамзина – Андреем – Ростопчина познакомилась еще в конце 1837 года. Светское знакомство, общий круг друзей,

благоговение перед одним и тем же поэтом – Пушкиным. Но чуткое сердце женщины откликнулось на эту встречу совсем не по-светски:

«Зачем, зачем в день встречи роковой  
Блеснули вы, задумчивые очи?  
Зачем, зачем мы встретились с тобой,  
Зачем сошлись, чтоб в жизни разойтись?»

С этого времени из-под пера графини выходят стихотворения, продолжающие тему «Встречи»: «Та же мысль в других словах», «Разговор во время мазурки», «Ответ», «Из разговора на рауте», «Ссора», «Последнее слово». Ясно одно, что они – отзвуки волнующих встреч и объяснений. Лирика Ростопчиной превратилась в настоящий стихотворный дневник. Из «Разговора во время мазурки» узнаем, что поэтесса услышала признание в любви. На это прямо указывает французский эпиграф: «Он сказал, что любит меня, что находит меня прекрасной и что мне навсегда отдано его сердце».

По-видимому, сгорая от пламенных чувств к молодой очаровательной графине, Андрей Карамзин потряс все её нравственные устои. Разговор получился тяжелым с обеих сторон, в какой-то мере обидным для Ростопчиной, так как поклонник с усмешкой парировал её слова о том, что дать волю своим чувствам – значит запятнать честь женщины. В ответ она сказала ему:

«Смеётесь вы?.. Чему?.. Тому ль, что в тридцать лет  
Разумно я смотрю без грез на жизнь и свет  
Что свято верую я в долг и добродетель?  
Что совести боюсь, что мне она свидетель  
Всех чувств и помыслов, всех тайн души моей?»

Боясь стать пленницей страсти и окончательно потерять голову, молодая графиня выказывает любимому напускное равнодушие. А он начинает подозревать в ней холодную кокетку. Замужняя женщина, графиня между чувством, в ожидании которого она жила все эти годы, и супружеским долгом, выбирает второе и покоряется печальной необходимости.

На время – покоряется. Но голос сердца звучал все громче, а отношения с мужем превратились в простую формальность: каждый жил своей жизнью. Пройдя испытание двухлетней разлукой, чувства Евдокии и Андрея обрели настоящие крылья для большой подлинно поэтической любви. Судя по стихам 1840 – 43 годов, в сознании поэтессы исчез тот страх греха, который преследовал ее раньше. Возможно, созревшая в ней страсть смела эту преграду. Счастливая пора в жизни поэтессы оставила след в стихах «Молитва за себя», «Верую», «Запретный кубок», «Накануне Нового года», «Подаренный букет».

Но брат поэтессы – Сергей Сушков – усердный ревнитель женской чести, скрыл от читателей шедевр «Неизвестный роман», не менее трёх десятков стихотворений, внушённых любовью к Карамзину, две поэмы. Самый известный биограф поэтессы, он насколько мог тщательно заметал даже самые слабые следы, ведущие к потаённому роману сестры. А ведь плодом этого романа были две дочери, отосланные на воспитание в Швейцарию под фамилией Андреевы!

Но невозможным оказалось замолчать финал этой любовной истории: Андрей Карамзин, подчиняясь воле своей властной матери, давно приглядевшей ему невесту, а также по материальным причинам в 1845 году женился на Авроре Демидовой, богатой вдове. Женитьба Андрея лишает возможности Ростопчину переписываться с ним для общения остается только поэзия.

Ростопчина с мужем и детьми уехала за границу. В дороге была написана «Молитва в грустный час», – самое, пожалуй, трагическое и пронзительное стихотворение из ее любовной лирики. Впрочем, все заграничные стихи пронизаны мыслью о потерянном счастье. Лучезарное небо Италии, о встрече с которой она так долго мечтала, не радует, угнетает.

«И в сердце и в уме я чую замиранье.  
Как будто надо мной небесный приговор  
Здесь тайно высказан, как будто злое горе  
Мне возвещается в предчувствии моем...»

Предчувствия, как и прежде, не обманули женщину. Все стихи итальянского периода, поэма «Донна Мария Колонна Манчини», а также баллада «Насильный враг» пересылаются поэтессой в «Северную пчелу» Ф. В. Булгарину. Поэма «Донна Мария Колонна Манчини» – по сути, исповедь Ростопчиной перед Андреем Карамзиным, сопровождаемая вопросами к нему, признанием в своём горе, заверениями в любви. Поэма – беспрецедентный в русской литературе разговор автора издалека с единственным сокровенным читателем. Никто, по убеждению героини поэмы не может дать большего счастья оставившему ее возлюбленному, чем дала она. Её любовь потребовала от неё самоотречения, бездны чуткости, изобретательности, находчивости.

Расставаясь с любимым, Ростопчина устами героини желает ему счастья, но, представляя себе облик новобрачной, с которой, конечно, не раз встречалась в свете, она поневоле становится предсказательницей неблагополучия этого брака. И, как бывало прежде, ее предсказания сбылись. Супружество это, не смотря на блестящую внешнюю обстановку и малахитовые палаты, в которые ввела Андрея вдова Демидова, дало ему мало счастья.

Увы, из всего того, что поэтесса направила Булгарину, была напечатана только баллада «Неравный брак», в которой критики усмотрели... скрытое осуждение деспотической политики российского самодержавия в Польше. Ростопчина стала «персоной нон грата» в столице и вынуждена была надолго поселиться в Москве. Только смерть царя в феврале 1855 года положило конец опале.

Ростопчины, тем не менее, устраивается в особняке на Садовой-Кудринской с полным комфортом. Их дом располагает великолепной библиотекой и редким собранием картин и скульптуры – коллекционированием увлекается муж поэтессы. Дом-музей гостеприимно распахивает двери для всех желающих. Никаких ограничений для посетителей не существовало.

В салоне Ростопчиной собиралась вся литературная Москва: Загоскин, Григорович, Писемский, Сухово-Кобылин, Полонский, Мей, Тургенев, Майков, Павлова. В этих стенах Лев Толстой познакомился с Островским, живописец. Федотов с Гоголем. В мае 1850 года Ростопчины устроили выставку Федотова, пользовавшуюся совершенно исключительным успехом.

«Что заставляло стоять перед картинами на выставках такую большую толпу посетителей, что привлекало приходивших к ним в ростопчинскую галерею, – писал журнал „Москвитянин“, – это верность действительности, иногда удивительная, разительная верность».

Федотовым же был написан превосходный портрет графини. А сама она много писала, принадлежа сердцем пушкинским годам. Она сама призналась в письме профессору-историку Погодину:

«Принадлежу и сердцем и направлением не нашему времени, а другому, благороднейшему – пишущему не из видов каких, а прямо и просто от избытка мысли и чувства, я вспоминала, что жила в короткости Пушкина, Крылова, Жуковского, Тургенева, Баратынского, Карамзина, что эти чистые славы наши

любили, хвалили, благословляли меня на путь по следам их – и я отрешилась... от своей эпохи, своих сверстников и современников, сближаясь все больше и больше с моими старшими, с другими образцами и наставниками моими...»

Лишь через девять лет поэтесса получила возможность повидать город, где так много напоминало ей о встречах с любимым. Но это время его там уже не было. В мае 1854 года Андрей Николаевич Карамзин, полковник конной артиллерии, был изрублен на куски в стычке с турками. Эта трагедия стёрла в сознании поэтессы все обиды, всё мучительное и мрачное, что принесла ей разлука с любимым человеком. Просветленный образ его предстает перед ней в небывалом поэтическом ореоле.

«И много лет прошло уже с тех пор,  
И много раз весна уж отцветала,  
И многого, и многих уж не стало, —  
Но помню я сердечный договор,  
Но и теперь твержу я, как бывало, —  
Потупя долу влажный взор:  
«Цветёт однажды жизни май и безвозвратно!»

В письме одному из друзей, спустя полгода после гибели Андрея, у Ростопчиной вырвались такие слова:

«Я хочу бросить писать и сломать свое перо; цель, для которой писалось, мечталось, думалось и жилось, эта цель больше не существует; некому теперь разгадывать мои стихи и мою прозу и подмечать, какое чувство или воспоминание в них отражено! Что свету до моих сочинений и мне до его мнения и вкуса!»

Пережив депрессию и нервный срыв, Евдокия Петровна снова взялась за перо. Она создаёт несравненные поэтические вещи, которые войдут в её посмертный (1859 г.) четырёхтомник произведений. Её произведения последних лет отличались стремлением к чистой, облагораживающей любви, неприязнью к пошлым тривиальным отношениям, утверждением общечеловеческих ценностей.

Разночинцы, получавшие все больше места и влияния в литературе, восприняли её поэзию как выпад против реализма, В 1850-е годы Ростопчина почувствовала себя чужой среди непонятных ей «мнений и начал». Примкнув вначале к славянофилам, она вскоре порвала с ними, но не примкнула и к западникам.

«Вместо того, чтобы убояться сблизиться с этим миром, тогда только рождающимся у нас в России, я обратила на него внимание... Иду себе прямо своею дорогой и, вследствие моей близорукости, не вижу, не замечаю кислых физиономий: мне до них дела нет! Я-я!! Кто меня любит и жалеет – тому спасибо, кто бранится, особенно без причин, – тем – более чем презренье: невниманье!» – написала она позже Погодину.

В 1856 году вышло из печати двухтомное собрание её лирики, дополненное стихами, дожидавшимися свой поры. Уже перед смертью в 1857 году двухтомник был дополнен и переиздан. Но время Ростопчиной ушло. Она ещё кипит, не может смириться с этим. Но прорывается горькое: «Жрицей одинокой у алтаря пустого я стою...».

Пожалуй, единственным человеком, понявшим истинную природу её поэзии, в эти годы был Ф. И. Тютчев. В одной стихотворной строке он сумел дать сжатое определение всего её творчества: «То лирный звук, то женский вздох...»

Ненавистным «умникам-разночинцам» пишет в стихотворном обращении «Моим критикам»:

«Я разошлася с новым поколеньем,  
Прочь от него идёт стезя моя.  
Понятьями, душой и убежденьем  
Принадлежу другому миру я!»

В 1856 году графине Ростопчиной исполнилось 45 лет. В Москву приехала Наталья Николаевна Пушкина-Ланская, встречалась со старыми знакомыми. Графиня Евдокия Петровна сама запросто заезжала к ним. Пушкина-Ланская вспоминала:

«Сегодня утром мы имели визит графини Ростопчиной, которая была так увлекательна в разговоре, что наш многочисленный кружок слушал ее раскрыв рты. Она уже больше не тоненькая... На ее вопрос: „Что же вы ничего мне не говорите, Натали, как вы меня находите“, у меня хватило только духу сказать: „Я нахожу, что вы очень поправились“. Она нам рассказала много интересного и рассказала очень хорошо».

Прекрасная Натали с возрастом, увы, не обрела ни ума, ни такта.

В 1858 году с уже умирающей сорокашестилетней Ростопчиной в Москве познакомился путешествовавший по России Александр Дюма-отец. В своих путевых заметках он записал:

«Она произвела на меня тягостное впечатление; на ее прекрасном лице уже отражался тот особый отпечаток, который смерть налагает на свои жертвы... Разговор с очаровательной больною был увлекателен... Графиня пишет как прозой, так и стихами не хуже наших самых прелестных женских гениев».

По просьбе Дюма Евдокия Петровна написала короткие воспоминания о Лермонтове и переслала их французскому романисту вместе с переводом стихотворения Пушкина «Во глубине сибирских руд». Дюма получил ее послание, когда Ростопчина уже скончалась.

«Я выполнила свои обязательства в отношении всех, кого сердцем любила», – сказала она перед смертью.

«Вы вспомните меня когда-нибудь... но поздно!  
Когда в своих степях далёко буду я,  
Когда надолго мы, навеки будем розно —  
Тогда поймете вы и вспомните меня!»

## Его стихов пленительная сладость

*«...Одухотворив русскую поэзию романтическими элементами, он сделал ее доступною для общества, дал ей возможность развития, и без Жуковского мы не имели бы Пушкина».*

**В. Г. Белинский.**

Первый русский поэт, стихи которого стали действительно народными – популярны они были ничуть не меньше (если не больше) появившихся позже стихов Пушкина, был наполовину... турком. Это общеизвестный факт, но если «арапские корни» Александра Сергеевича приобрели со временем какое-то почти мистическое значение, то столь же экзотические и куда более близкие турецкие корни Жуковского как-то остались незамеченными.

Матерью мальчика была взятая в плен в 1770 году, во время русско-турецкой войны турчанка Сальха. Существует как минимум две версии ее появления в доме тульского помещика Бунина. Согласно первой, Сальху привез один из крепостных-участников войны. По другим источникам, ее взял в плен майор К. Муфель и отдал на воспитание Бунину.

В России Сальха приняла православие и после крещения получила имя Елизавета Турчанинова. Сначала она была нянькой при младших Буниных, потом стала экономкой в доме. Сыну, рожденному от короткой связи с помещиком, грозила обычная участь подобных внебрачных детей. Однако ребенку сказочно повезло.

Перед рождением будущего поэта в 1783 году семью Бунина постигло горе: из одиннадцати человек детей в короткое время умерло шестеро. Убитая горем Мария Григорьевна Бунина решила взять в свою семью новорождённого и воспитать его как родного сына. Фамилию свою ребёнок получил от жившего в имении бедного белорусского дворянина Андрея Григорьевича Жуковского, который по просьбе Бунина стал крёстным отцом ребёнка и затем его усыновил.

Ребёнок был, как тогда повсеместно делалось, еще младенцем зачислен на службу в Астраханский гусарский полк и получил звание прапорщика, которое давало право на личное дворянство. В 1769 году 6-летний Жуковский был внесён в дворянскую родословную книгу Тульской губернии и получил грамоту на дворянское достоинство, которая позволила ему впоследствии получить прекрасное образование.

В семье Буниных заботились о Василии, как о родном ребенке, и недостатка в ласковом и заботливом отношении он не испытывал. Несмотря на это, мальчик тяжело переживал свое двойственное положение, и уже с юных лет мечтал как о чем-то несбыточном о семейном счастье, о близких, которые принадлежали бы ему «по праву». При этом практически никаких отношений со своей родной матерью не поддерживал – Сальха доживала свой век в одном из дальних поместий, где и умерла, всеми забытая, в 1811 году.

А четырнадцатилетний Жуковский поступил в 1797 году в Московский университетский благородный пансион и учился в нём четыре года. Юноша с особым усердием изучал рисование, словесность, историю, французский и немецкий языки и он скоро стал одним из первых учеников.

На втором году пребывания Жуковского в пансионе среди товарищей его, в числе которых были Дмитрий Дашков, Андрей и Александр Тургеневы, возникло особое литературное общество – Собрание, с официально утверждённым уставом. Первым председателем его стал Жуковский.

Впервые Жуковский выступил в печати, когда ему было 14 лет. В университетском журнале «Приятное и полезное препровождение времени» появилась его статья «Мысли при гробнице», а затем стихотворение «Майское утро».

Статья обнаруживает уже вполне сложившееся мироощущение не подростка, а молодого человека:

«Живо почувствовал я ничтожность всего подлунного; вселенная представилась мне гробом. Смерть! Лютая смерть! Когда утомится рука твоя, когда притупится лезвие страшной косы твоей?..»

Стихотворение же ничем не отличается от десятков ему подобных, написанных примерно в то же время:

«Бело-румяна  
Всходит заря  
И разгоняет  
Блеском своим  
Мрачную тьму  
Черныя ночи».

Это еще не тот Жуковский, творениями которого потом зачитывались все образованные люди России. Это пока просто прилежный ученик, пишущий «сочинение на заданную тему». Должно было пройти пять лет и состояться знакомство с Николаем Андреевичем Карамзиным, чтобы поэтическая сила Жуковского, наконец, расцвела. Но неизбежным следствием этого знакомства было увлечение сентиментализмом.

Впрочем, зерно упало в благодатную почву: сентиментальность вообще была одной из черт характера юноши, и если у Карамзина – это лишь дань литературному течению, некая поза рассудительного и, в общем-то, холодного человека, то талант Жуковского расцвел именно на ниве сентиментализма.

Всеобщее внимание обратило на себя напечатанный им в «Вестнике Европы» в 1802 году вольный перевод элегии английского сентименталиста Грея под названием «Сельское кладбище». В следующем году появилась повесть «Вадим Новгородский», написанная в подражание историческим повестям Карамзина.

В сущности, сама натура поэта, впечатлительного и ранимого, противилась размеренной и упорядоченной работе чиновником в Соляной конторе, куда он был определен после окончания пансиона в 1800. Жуковский воспользовался первой же благоприятной возможностью, чтобы уйти в отставку. В родном имении Мишинском, где он не был долгие годы, поэт отдыхал душой, предавался созерцанию природы вел дневник, и, конечно же, писал стихи. Но не только.

Там же, в Мишенском, Жуковский пробует свои силы на педагогическом поприще – в качестве домашнего учителя дочерей своей старшей сводной сестры Е. А. Протасовой – Маши и Саши. Так обозначатся три основные линии жизни и творчества Жуковского – государственная служба, поэзия и педагогика. И драма всей жизни тоже определится в Мишенском. Жуковский сам поражен зародившемуся чувству любви к ребенку, объясняя в дневниках, что видит Машу Протасову «не таковою, какова она есть, а таковою, какова она будет».

В 1804 году вышла первая книжка из его шеститомного перевода с французского «Дон Кихота» Сервантеса. Читатели были поражены – в общем-то сухой, вялый французский перевод заиграл под пером Жуковского русской, мелодичной, завораживающей речью.

А в 1808 году появилась мистически-сентиментальная баллада «Людмила», которую можно считать первым русским романтическим произведением. В балладе нет сказочной упокоенности и внешней фантастики богатырских поэм. Оба героя становятся игрушками в руках таинственных и беспощадных сил: невеста ждет возвращения с войны жениха, однако после возвращения войска обнаруживает, что его нет, и она в отчаянии ропщет на судьбу. Тогда ночью перед ней появляется призрак жениха и увозит ее с собой в могилу.

Любые нравственные нормы, известные человеку, в мире подлинно романтической баллады утрачивают свою действенность перед ликом неведомого и непознаваемого. В балладе «Людмила» нет обещания торжества справедливости, как это было свойственно фольклору и просветительской литературе XVIII в. Протест Людмилы вызывает усугубление кары, человек становится рабом судьбы, которой он должен смиренно подчиниться. О том, что человек бессилён в мире небытия, говорит концовка:

«Вдруг усопшие толпою  
Потянулись из могил;  
Тихий, страшный хор завыл:  
«Смертный ропот безрассуден;  
Царь всевышний правосуден;  
Твой услышал стон творец;  
Час твой бил, настал конец».

Расширение границ обыденного, тяга к неизведанному – вот главные составляющие романтического взгляда на мир, осуществленные в этой балладе. «Людмила» создала оригинальную жанровую традицию: фантастически напряженный ход событий, драматизированный сюжет, моралистический итог, откровенная условность авторской позиции. После Жуковского в русской поэзии легендарность историко-героического сюжета стала необходимым условием балладного жанра.

Следующая баллада Жуковского – «Светлана», уже не перевод, а оригинальное произведение, так полюбилась российскому читателю, так органично слилась с народной жизнью, что строки из нее уже многие годы спустя напевали над детской колыбелью: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали: За ворота башмачок, Сняв с ноги, бросали...»

Однако подлинную славу Жуковский обрел лишь во время Отечественной войны, в которой принял непосредственное участие, вступив в ополчение.

7 августа Маша Протасова отметила в дневнике: «Получено письмо от Жуковского, он прошел пешком 28 верст, идет к Можайску. Сохрани его Господь».

В эти же дни Карамзин сообщил поэту И. И. Дмитриеву:

«Я благословил Жуковского на брань: он вчера выступил отсюда навстречу неприятелю».

Жуковский оставил одно из самых ярких описаний ночи перед Бородинским сражением:

«...Наконец, армия заснула вся с мыслью, что на другой день быть великому бою. И тишина, которая тогда воцарилась повсюду, неизобразима; в этом всеобщем молчании и в этом глубоком темном небе, полном звезд и мирно распростертом над двумя армиями, где столь многие обречены были на другой день погибнуть, было что-то роковое и несказанное. И с первым просветом дня грянула русская пушка, которая вдруг пробудила повсеместное сражение».

В лагере под Тарутином он написал «Певца во стане русских воинов», сразу же в тысячах списков разошедшееся в армии и в России. Это – «романтическая ода», которая, по словам литературоведа Коровина, «очаровала современников интимным, личным преломлением патриотической темы», и недаром Россия в «Певце...» – «не Отечество, а „милая Родина“, дорогая сердцу воспоминаниями детства».

По рассказу писателя И. Лажечникова, стихами из «Певца...» зачитывались на фронте, выучивали наизусть, разбирали... Она поднимала боевой дух, вдохновляла на ратные подвиги, а порою и вызывала на глазах закаленных в боях воинов «скупую мужскую слезу»:

«Там все – там родших милый дом:  
Там наши жены, чада;  
О нас их слезы пред Творцом;  
Мы жизни их отрада;  
За них, друзья, всю нашу кровь!  
На вражи грянем силы;  
Да в чадах к родине любовь  
Зажгут отцов могилы».

И. Лажечников записывает в «Походных записках»:

«Часто в обществе военном читаем и разбираем „Певца во стане русских“, новейшее произведение г. Жуковского. Почти все наши выучили уже сию пиесу наизусть. Какая поэзия! Какой неизъяснимый дар увлекать за собой душу воинов!.. Довольно сказать, что „Певец во стане русских“ сделал эпоху в русской словесности и – в сердцах воинов!»

В том же 1812 Д. Боршнянский создал на основе «Певца...» патриотическую песнь для хора, ее исполняли в виде застольной песни с хоровым припевом. В 1813 году поэма вышла сразу тремя изданиями, прославив имя Жуковского по всей России.

Кстати, мало кому известно, что за участие в Отечественной войне Жуковский получил чин штабс-капитана и награду за Бородино и Красное – боевой орден Святой Анны 2-й степени.

После войны, пережив тяжелое заболевание горячкой, Жуковский возвращается в свое небольшое имение Холх. Притягательная сила этой деревеньки для него состояла еще и в том, что буквально напротив находилось имение Протасовых – Муратово, где жила его Дульсинея – Маша. Жуковского встретили в Муратово как героя Бородинского сражения, прославленного поэта-воина. Маше уже исполнилось 20 (Жуковский был всего лишь на 10 лет старше ее).

Маша Протасова вошла в историю русской поэзии как муза, ангел-хранитель поэта, и в то же время – неиссякаемый источник его страданий. Влюбленные мечтали об одном – соединить навеки свои жизни, вступить в законный союз. Но мать Маши была категорически против браков между родственниками, даже дальними...

Жуковский просит руки возлюбленной, но получает решительный отказ.

– Тебе закон христианский кажется предрассудком, а я чту установления Церкви, – отвечает ему сводная сестра, Екатерина Афанасьевна.

Жуковский пытается объяснить:

– Я вовсе вам не родня: закон, определяющий родство, не дал мне имени вашего брата.

Формально он был прав: по документам они не состояли в родстве. Но Екатерина Афанасьевна отвечала на уговоры друзей и родных:

– Я говорила с умными и знающими закон священниками; никто не уничтожил нашего родства с ним. Родство наше признано Церковью.

Тем временем младшая сестра Маши и крестница Жуковского Александра вышла замуж за пансионного друга Василия Андреевича, поэта и издателя Воейкова. Свадьба откладывалась из-за отсутствия денег. Жуковский продал свою любимую деревеньку и вырученные 1000 рублей подарил в приданое своей крестнице.

Кстати, именно к ней обращены его строки «гений чистой красоты», позаимствованные впоследствии Пушкиным без упоминания первоисточника. Борцы с плагиатом, ау! Солнце нашей поэзии не стеснялось черпать вдохновение в любых источниках.

Саше Протасовой Жуковский посвятил балладу «Светлана», после чего за ней закрепилось второе имя – Светлана. Вся семья Протасовых-Воейковых переехала в Дерпт, где Воейков с помощью все тех же пансионных друзей получил место профессора литературы в Дерптском университете.

Екатерина Афанасьевна милостиво разрешила Жуковскому быть вместе с ними, но только в качестве брата. Жуковскому удалось победить себя, он даже принял участие в поисках достойного жениха для Маши, которая в конце концов вышла замуж за профессора медицины и виртуоза-пианиста И. Ф. Мойера.

После этого Жуковский покинул Дерпт, записав в дневнике: «Мне везде будет хорошо – и в Петербурге, и в Сибири, и в тюрьме, только не здесь... прошедшего никто у меня не отымет, а будущего – не надобно».

С тех пор в творчестве Жуковского с новой силой начинает звучать неистребимый, на грани надежды и утраты мотив противостояния, а порой и переплетение земной печальной юдоли с небесным, совершенным там, придающей его стихам пронзительно-щемящее, страстное звучание.

Друзья давно звали его в Петербург.

«Ныне Петербург стал единственно приличным для нас местопребыванием... Право, приезжайте!» – писал С. С. Уваров.

Казалось нелепым, что он, автор «Певца во стане русских воинов», до сих пор не представлен Двору. В 1815 такое представление состоялось: Жуковский целый час беседовал со вдовствующей императрицей Марией Федоровной.

И в этом же году, осенью, произошло еще одно его приятное знакомство – не менее значимое. Жуковский сам поехал в Царское Село, чтобы обнять юного собрата по перу лицеиста Александра Пушкина. Сразу же после встречи Жуковский напишет Вяземскому:

«Я сделал еще приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Царском Селе. Милое, живое творение! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не мешал себе созреть! Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет...»

Как в воду глядел! Пройдет 5 лет, и Жуковский подарит Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя», который фактически и станет первой прочной ступенью на лестнице, ведущей к славе и бессмертию. Жуковский по жизни был весьма скромным, чего нельзя сказать о его так называемом «ученике».

Через месяц в доме Уварова на Малой Морской состоялось первое заседание «Арзамаса» («Арзамасского общества безвестных людей»).

«Мы объединились, – писал Жуковский, – чтобы хохотать во все горло, как сумасшедшие; и я, избранный секретарем общества, сделал немалый вклад, чтобы достигнуть этой главной цели, т. е. смеха; я заполнял протоколы галиматей, к которой внезапно обнаружил колоссальное влечение».

Как впоследствии распишут литературоведы и особенно пушкинисты роль этого безобидного кружка в развитии русской поэзии! Их стараниями КВН тех времен превратится впоследствии во что-то совершенно грандиозное – едва ли не питомник для выращивания гениев. А между тем «Арзамас» всего лишь вел в шуточной форме борьбу с консерватизмом классической поэзии. Именно в «Арзамасе» Жуковский познакомился с Константином Батюшковым и стал одним из его друзей и покровителей.

В 1816 году Жуковский написал первый официальный гимн России «Молитва русских». Это был перевод (правда, сильно измененный) текста английского гимна «God save the King».

Музыка была также позаимствована у английского гимна (что в своё время сделали более 20 государств).

«Боже, Царя храни!  
Славному долги дни  
Дай на земли!  
Гордыхъ смирителю,  
Слабыхъ хранителю,  
Вс; хъ ут; шителю—  
Всё ниспошли!  
Перводержавную  
Русь Православную  
Боже, храни!  
Царство ей стройное,  
Въ сил; спокойное!  
Всё-жь недостойное  
Прочь отжени!  
О, Провид; ніе!  
Благословеніе  
Намъ ниспошли!  
Къ благу стремленіе,  
Въ счастье; смиреніе,  
Въ скорби терп; ніе  
Дай на земли!»

Этот гимн в неизменном виде просуществовал почти двадцать лет. В 1833 году во время визита императора Николая Первого в Австрию и Пруссию, монарх выразил неудовольствие тем, что его всюду встречают звуками английского марша и по возвращении поручил князю Львову, как наиболее близкому ему музыканту, сочинить новый гимн.

Новый гимн на музыку князя Львова, слова которого были написаны также Жуковским, но уже при участии Пушкина (!) с 31 декабря 1833 года стал официальным гимном Российской Империи под новым названием «Боже, Царя храни!».

Если смотреть по записи начала XX века гимн выглядел так:

Боже, Царя храни!  
Сильный, державный,  
Царствуй на славу, на славу нам!  
Боже, Царя храни!  
Сильный, державный,  
Царствуй на славу, на славу нам!  
Царствуй на страх врагам!  
Царь православный  
Боже, Царя храни!  
Боже, Царя храни!  
Царствуй на страх врагам!  
Царь православный  
Боже, Царя храни!»

Блеск чудного гения Пушкина в этих строках очевиден. Но в первый (и последний раз в жизни!) поэт помалкивает о своем авторстве. Молчание сохраняли и большинство пушкинистов, причем причина этого совершенно ясна: прославление Пушкиным царя не укладывалось ни в какие концепции отношений между монархом и поэтом.

Между тем, в 1816 году Жуковскому был назначен пожизненный пенсион. Указ императора Александра I гласил:

«Взирая со вниманием на труды и дарования известного писателя, штабс-капитана Василия Жуковского, ...обогатившего нашу словесность отличными произведениями, из коих многие посвящены славе русского оружия, повелеваю, как в ознаменование моего к нему благоволения, так и для доставления нужной при его занятиях независимости состояния, производить ему в пенсион по четыре тысячи рублей в год из сумм Государственного Казначейства».

А в 1817 году Жуковский был определен учителем русского языка к невесте великого князя Николая Александровича прусской принцессе Шарлотте, ставшей после венчания Великой княгиней Александрой Федоровной.

В письме к Светлане (Протасовой-Воейковой) Жуковский писал:

«Моя ученица мила, добродушна и сердце у меня лежит к моему делу. Мне весело иметь теперь цель моих занятий, цель небесную... Милое, небесное создание: простота, добродушие и прелестное ребячество. Великий Князь очень добр в обхождении, он привязывает к себе своей лаской, мне то и надобно. Хочу любить свою должность, а не об выгодах заботиться. Выгоды будут, если Бог велит, но лбом до них добиваться – не хочу, трудно, скучно и для меня бесполезно, ибо не имею и не буду иметь нужного для того искусства».

Поскольку Жуковский был холост, никому, слава Богу, не пришло в голову высказать гениальную догадку о том, что его императорское высочество благосклонен к поэту лишь потому, что желает добиться благосклонности его супруги. Да и двор в описаниях Василия Андреевича предстает вполне приятным местом, а вовсе не сборищем развратных и честолюбивых монстров.

(А не потому ли так мало знали мы о Жуковском долгое время после Октябрьского переворота? Крепостных не тиранил, с царями не ссорился, оскорбительных эпиграмм ни на кого из сильных мира сего не писал, за чужими женами не волочился... Прекрасный поэт? ну и что? явно социально чуждый элемент).

В 1818 году вышло 3-томное собрание сочинений Жуковского. Его приняли в члены Российской Академии. В 1820 году в составе свиты Великой княгини Александры Федоровны Жуковский совершил первое двухгодичное путешествие за границу: Берлин, Дрезден, Швейцария, Северная Италия.

В пути он получил письмо от Маши, сообщавшей радостную весть:

«Милый ангел! какая у меня дочь! Что бы я дала за то, чтобы положить ее на твои руки».

Через 2 года, по пути домой, его догнало еще одно письмо:

«Брат мой! твоя сестра желала бы отдать не только жизнь, но и дочь за то, чтоб знать, что ты ее еще не покинул на этом свете!»

В марте 1823 года Жуковский неделю провел в Дерпте рядом с Машей, тяжело переносившей вторые роды.

«Мы простились, – записал он в дневнике. – Она просила, чтоб я ее перекрестил, и спрятала лицо в подушку».

Вернувшись в Петербург, Жуковский получил известие о смерти Маши при родах ребенка. Последнее, предсмертное письмо, ему передали на ее могиле:

«Друг мой! Это письмо получишь ты тогда, когда меня подле вас не будет, но когда я еще ближе буду к вам душою. Тебе обязана я самым живейшим счастьем, которое только ощущала!.. Жизнь моя была наисчастливейшая... И все, что ни было хорошего, – все было твоя работа... Сколько вещей должна я была обождать только внутри сердца, – знай, что я все чувствовала и все понимала. Теперь – прощай!»

С годами, особенно после пережитой глубокой личной драмы, Жуковский все более задумывается о «небесном», о «святом», в стихах его все явственнее звучит религиозный, а порою мистический оттенок. И хотя друзья поэта опасались, что после смерти своей музы и «ангела-хранителя» Маши Протасовой он лишится главного источника вдохновения, перо он вовсе не думает оставлять. Разве что стиль его произведений становится несколько строже, порою он отказывается и от стилистических излишеств, и от традиционной рифмы. Слово для него все более и более становится знаком чего-то неизмеримо более существенного, чем видимый, осязаемый мир, а «избыток неизъяснимых чувств», по-прежнему переполняющий его душу, жаждет излиться и не находит вещественных знаков для выражения.

В то же время именно словами, поэтической речью Жуковский с годами овладевал все совершенней. Свидетельство тому – прежде всего его оригинальные произведения 20-х годов, пожалуй, наиболее совершенные создания его лирики – «Мотылек и цветы», «Таинственный посетитель», «Невыразимое», – стихи, проникнутые фантастичным переплетением жизни человека и тайной жизни мира, природы.

«Все необъятное в единый вздох теснится;  
и лишь молчание понятно говорит».

Впрочем, деятельность Жуковского не ограничивается одной лишь изящной словесностью. Уже маститый поэт, почетный член, а затем – с 1818 года – и академик Петербургской АН, он пользуется доверием императорского двора: осенью 1826 года он был назначен на должность «наставника» наследника престола, будущего императора Александра Второго.

Дельвиг сообщал об этом Пушкину:

«Жуковский, думаю, погиб невозвратно для поэзии. Он учит Великого Князя Александра Николаевича русской грамоте и, не шутя говорю, все время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурки, а для складов картинки. Как обвинять его! Он исполнен великой идеи: образовать, может быть, царя. Польза и слава народа русского утешает несказанно сердце его».

Сам Жуковский писал об этом:

«Мне жаль моих веселых, вдохновенных, беззаботных поэтических работ. Но это сожаление делает для меня желательную цель только драгоценнее. Занятия мои сами по себе детские, чисто механические; я сделался просто учеником. Учю, чтобы учить. Привожу в порядок понятия, чтобы передать их с надлежащей ясностью. Черчу таблицы для ребенка, с тем чтобы после их уничтожить, словом, мои работы сами по себе должны исчезнуть. Но жизнь моя истинно поэтическая. Могу сказать, что она получила для меня полный вес и полное достоинство с той только минуты, в которую я совершенно отдал себя моему теперешнему назначению. Я принадлежу

наследнику России. Эта мысль сияет передо мной, как путеводная звезда. Все, что у меня теперь в душе, приливает к ней, как кровь к сердцу. На всю свою жизнь смотрю только в отношении к этой высшей животворной мысли».

О том, насколько глубоко Жуковский понимал проблемы религиозного образования и религиозного воспитания будущего императора, можно судить по его письму из Дрездена, где он проводил отпуск для лечения.

«Особенно умоляю ваше Величество, – обращается Жуковский к императрице Александре Федоровне, – не торопиться выбором духовного лица, которое должно будет дать Великому Князю религиозное образование: это предмет слишком серьезный и требует большой осмотрительности. Нам нужен человек, который мог бы вполне разделить наш план. Религия не отдельная наука, которую изучают так, как, например, математику; она не может быть рассматриваема только как предмет обучения; она скорее служит средством воспитания, она должна входить во все, должна сливаться со всеми чувствами, со всеми мыслями, чтобы стать жизненным правилом, иначе влияние ее будет ничтожно. Все зависит от выбора учителя. Если мы не будем в состоянии найти то, что нам нужно, то по крайней мере возьмем то, что есть лучшего».

Вообще «План учения» наследника предусматривал постепенное постижение науки царствовать. Наставления Жуковского гласили:

«Уважай закон и научи уважать его своим примером: закон, пренебрегаемый Царем, не будет храним и народом... Владычествуй не силою, а порядком... Будь верен слову: без доверенности нет уважения, неуважаемый – бессилён... Окружай себя достойными помощниками: слепое самолюбие Царя, удаляющее его от людей превосходных, предаёт его на жертву корыстолюбивым рабам, губителям его чести и народного блага... Уважай народ свой: тогда он сделается достойным уважения».

Увы, теперь можно с уверенностью сказать: воспитывать должны учителя, а не поэты. Получивший классическое домашнее образование император Николай Первый в любое время суток выходил из Зимнего Дворца без охраны, ничего не опасаясь. А его просвещенный приемник, воспитанный самым гуманным и романтическим из русских поэтов, погиб от рук своего же «благодарного народа». А ведь как прекрасно все задумывалось!

«На том месте, которое вы со временем займете, вы должны будете представлять из себя образец всего, что может быть великого в человеке, будете подписывать законы другим, будете требовать от других уважения к закону. Пользуйтесь счастливым временем, в котором можете слышать наставления от тех, кои вас любят и могут свободно говорить вам о ваших обязанностях; но, веря им, приучайтесь действовать сами, без понуждения, произвольно, просто из любви к должности, иначе не сделаетесь образцом для других, не будете способны предписывать закон и не научите никого исполнять закона, ибо сами не будете исполнять его».

С 1828 Жуковский жил в специально надстроенном для него четвертом этаже Шепелевского дворца, входившего в ансамбль зданий Зимнего дворца. Здесь он по будням вел занятия с наследником престола, а по субботам на его «олимпийском чердаке» собирались, как отмечал А. Тургенев, «литераторы всех расколов и всех наций, художники, музыканты».

«Жаль, что нет журнала, – писал после одного из субботников Вяземский, – куда бы выливать весь этот кипяток, сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего».

И в апреле 1836 года увидел свет первый номер «Современника», задуманного на чердаке Жуковского. В июне того же года Жуковский вместе с Вяземским отобрали для публикации стихи Ф. Тютчева, открывая новое имя в русской поэзии.

Пользуясь своим положением, Жуковский не только пытался воспитать царственного наследника соответственно высоким понятиям нравственности, но принимал посильное участие в облегчении участи гонимых и поверженных. Так, во многом благодаря его заступничеству, был освобожден от крепостной зависимости украинский поэт Тарас Шевченко...

В то же время поэт вовсе не стремился отображать современную ему действительность, его больше занимало вечное в человеке. Поздние баллады Жуковского, переводы индийской и иранской поэм «Рустем и Зораб», «Наль и Дамаянти» – поистине шедевры русской поэзии, мудрые, драматичные и, как это ни парадоксально, современные. Ведь Жуковского беспокоили непреходящие темы, он искал истоки широкого обобщающего взгляда на жизнь и судьбу, а частое использование им вольного стиха еще больше приближало его поздние переводы к нашему времени.

Лето и осень 1831 года Жуковский провел в Царском селе. В это же время там проводил лето Пушкин, только что женившийся на Наталье Гончаровой. В Царском селе Жуковский, возможно, соревнуясь с Пушкиным, написал сказки: «Сказку о царе Берендее», «Сказку о спящей царевне», «Войну мышей и лягушек».

«Жуковский, – сообщал А. С. Пушкин Вяземскому, – завел 6 тетрадей и разом начал 6 стихотворений; так его и несет. Редкий день не прочтет мне чего нового; нынешний год он верно написал целый том».

Но – что характерно – Жуковский всячески избегал разговоров о юной и прекрасной супруге своего молодого друга. Ни тогда, ни впоследствии Василий Андреевич не проронил нигде ни слова о Наталье Николаевне, не осуждал ее и не оправдывал. Хотя всегда принимал самое горячее (иногда даже неуместное) участие в улаживании отношений между Пушкиным и императорским двором.

В период, предшествовавший гибели Пушкина, Жуковский вместе с драматургом Розеном работал над либретто оперы М. И. Глинки «Жизнь за Царя» (У нас она долгое время была известна, как «Иван Сусанин»).

«Когда я изъявил свое желание приняться за русскую оперу, – вспоминал М. И. Глинка, – Жуковский искренне одобрил мое намерение и предложил мне сюжет „Жизни за Царя“. Сцена в лесу глубоко врезалась в мое воображение; я находил в ней много оригинального, характерного, русского».

Жуковский написал эпилог оперы и трио «Ах, не мне бедному, ветру буйному...» М. И. Глинка написал несколько романсов на стихи Жуковского: «Дубрава шумит», «Сто красавиц светлоликих», «Ночной смотр». В обсуждении замысла оперы принимал участие Пушкин, но лишь постольку, поскольку находил время, будучи уже сильно занят историей вокруг его супруги и Дантеса.

О роли Жуковского в трагической истории последних дней жизни Пушкина известно практически все. По просьбе семьи Гончаровых Василий Андреевич пытался не допустить дуэли. Барон Геккерен тоже был уверен, что только Жуковский сможет убедить Пушкина мирно встретиться с Дантесом.

«Свидание представляется мне необходимым, – писал он Жуковскому 9 ноября, – обязательным – свидание между двумя противниками, в присутствии лица, подобного вам, которое сумело бы вести свое посредничество со всем авторитетом полного беспристрастия и сумело бы оценить реальное основание положений, послуживших поводом к этому делу».

Пушкин от свидания отказался, тем не менее Жуковский вновь прислал ему записку:

«Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Еще я не дал никакого ответа Геккерену... Ради Бога, одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления».

Жуковский был убежден, что Пушкин, слышавший дуэлянт и отличным стрелком, убьет Дантеса и совершит тем самым безумное злодейство – убийство. Да в этом, собственно говоря, были уверены абсолютно все – потому так и хлопотали: враги, чтобы дуэль обязательно состоялась и Пушкин был ошельмован и опозорен на всю жизнь, друзья, чтобы любым способом избежать дуэли и спасти Пушкина от него самого. Никто и представить себе не мог, чем закончится очередная авантюра поэта.

Вечером 27 января Жуковский получил роковое известие. Пушкин призвал его к себе. Все последующие 2 дня и 3 ночи Жуковский почти неотлучно находится в квартире Пушкина, он выпускает бюллетень о его состоянии.

Тогда же Жуковский получил записку от Великой княгини Елены Павловны:

«Добрейший г. Жуковский! Узнаю сейчас о несчастье с Пушкиным – известите меня, прошу вас, о нем и скажите мне, есть ли надежда спасти его. Я подавлена этим ужасным событием, отнимающим у России такое прекрасное дарование, а у его друзей – такого выдающегося человека».

После выноса тела Жуковский запечатал кабинет Пушкина своей печатью, а затем получил разрешение перенести рукописи поэта к себе на квартиру. Все последующие месяцы Жуковский занимался разбором рукописей Пушкина, подготовкой к изданию посмертного собрания сочинений и всеми имущественными делами, став одним из трех опекунов детей поэта (по выражению Вяземского, ангелом-хранителем семьи).

Впоследствии все это получило несколько иное название: «все бумаги поэта были срочно отобраны во дворец». Комментарии, по-моему, излишни.

После гибели Пушкина, в 1837—1839 годах Жуковский объездил с наследником цесаревичем Россию и часть Сибири, а также предпринял путешествие по Западной Европе, где, в частности, познакомился с Николаем Гоголем и очень сблизился с ним.

Жуковский, вернувшись в Петербург, и вновь поселился «на чердаке» – в Шепелевском дворце. Здесь его ожидало письмо от Гоголя из Рима.

«Я получил вспоможение, – сообщает Гоголь о 5000 рублей от государя. – Все вы, все вы! Ваш исполненный любви взор бодрствует надо мною!»

Отныне, оказавшись не в силах уберечь Пушкина, Жуковский станет ангелом-хранителем Гоголя (в письмах он называл его ласково Гоголёнком). Знали вы об этом? Я лично узнала только тогда, когда стала собирать документы о жизни Василия Андреевича Жуковского. Так же, как и о том, что приобрести картину почти безвестного тогда художника Иванова «Явление Христа народу» для России наследнику-цесаревичу посоветовал тоже Жуковский во время пребывания в Риме.

В начале 1842 года Жуковский приступает к переводу «Одиссеи». В печати первый том «Одиссеи» вышел в 1848 году, второй – в 1849 году.

Только в 1841, в возрасте 57 лет, поэт все же обрел семью, женившись на дочери своего друга, Елизавете Рейтерн. Жена была младше Жуковского на 38 лет. Родились дети, но болезнь жены заставила семейство выехать в Германию. Семья жила в уютном особняке в Дюссельдорфе. Казалось, что уже ничто не сможет помешать столь долгожданному семейному счастью Жуковского. Он записал в дневнике:

«Постараюсь, чтобы мое пребывание за границей не осталось бесплодным для русской литературы».

Но там-то и его настиг недуг, по причине которого он вскоре уже не мог брать перо в руки. В письмах к друзьям Жуковский признавался:

«Глаза слабеют и слух тупеет. Я уже выдумал себе машину для писания в случае слепоты. Надобно придумать отвод и от глухоты... Не покоем семейной жизни дано мне под старость наслаждаться, беспрестанными же, всякую душевную жизнь разрушающими страданиями бедной жены моей уничтожается всякое семейное счастье».

Супруга поэта страдала нервными расстройствами, часто впадала в мрачное состояние. Фактически Жуковский не мог вернуться в Россию из-за болезни жены, где она оказалась бы лишенной необходимой ей медицинской помощи.

И тем не менее, поэт жил мечтой о возвращении на родину. 1 февраля 1851 года он писал Гоголю:

«Я надеюсь, верно, возвратиться нынешнею весною или в начале лета в Россию. Прежде всего поеду в Дерпт и там на первый случай оставлю жену и детей; сам же в августе месяце отправлюсь в Москву и там отпраздную коронацию и царские юбилеи; туда, надеюсь, на это время съедутся все мои родные; туда, равно надеюсь, приедешь и ты».

В дневнике записал:

«Каждый день утром и вечером между прочими молитвами говорю перед Богом: возврати меня в Отечество!»

Однако работа мысли не прекращалась – диктуя, Жуковский заканчивает поэму «Странствующий жид» – итог своей жизни и творчества, своеобразную «лебединую песню». И наконец в 1851 он пишет элегию «Царскосельский лебедь», заканчивающуюся картиной гибели лебедя, некогда жившего в Царском Селе.

В начале марта 1852 года из Москвы пришло печальное известие о смерти Гоголя. Это был последний удар. Силы – духовные и физические – покинули Жуковского.

12 апреля 1852 года – в Светлое Христово Воскресение – Жуковский скончался в Баден-Бадене.

Сначала был похоронен в Германии, но в августе этого же года прах поэта был перевезен в Петербург и погребен на кладбище Александро-Невской лавры. Жена пережила его всего на четыре года.

Дочь стала фрейлиной императрицы и вышла замуж за четвертого сына императора Александра Второго, Великого князя Алексея Александровича. Сын стал автором памятника Александру Второму в Московском Кремле.

Царская семья не отпустила сына пленной турчанки, великого русского поэта даже после смерти.

## Мечта о пуле в сердце

*«Гениальная личность прежде всего совмещает в себе не только положительные, доблестные элементы современности, но и ее недостатки и пороки. Обладая громадными запасами сил, гениальные люди спешат взять от современной им жизни все, что в ней заключается, всем, что в ней есть, насладиться и всем перестрадать.*

*Но этим не ограничивается еще их гениальность: будучи вполне детьми своего века, разделяя с современниками своими все их положительные и отрицательные качества, они выделяются среди них, возвышаются над ними, уходя от всего относительного, преходящего, принадлежащего данному веку и составляющего злобу дня в область необъятного, безотносительного, общенародного или общественного, делающего их творения достоянием многих веков или многих народов, смотря по степени их гениальности и общечеловечности».*

*Александр Скабичевский, литературный критик и историк литературы.*

3 октября 1814 года в Москве в доме у Красных Ворот в семье капитан в отставке из небогатых помещиков Юрия Петровича Лермонтова и его супруги, Марии Михайловны, урожденной Арсеньевой, родился первенец – сын Михаил.

*«По отцовской линии род Лермонтовых ведет свое начало от Георга Лермонта (Шотландия). Находясь на службе у польского короля, в 1613 году, при осаде крепости Белой, Георг Лермонт был взят в плен и перешел на сторону русских, сражался в чине офицера в отряде Д. Пожарского и за хорошую службу царю получил грамоту в 1621 году на владение землей в Галическом уезде Костромской губернии. От него и пошли Лермонтовы, уже во втором поколении, принявшие Православие. Юрий Петрович Лермонтов является седьмым коленом от прибывшего в Россию шотландского воина...»*

Такой ответ получили исследователи жизни и творчества Лермонтова еще в позапрошлом веке, обратясь в соответствующее геральдическое ведомство.

Но потомок гордого шотландского рода был простым армейским офицером, владел единственной деревенькой в Тульской области и мог похвастаться разве что красотой и добрым сердцем – при крайней несдержанности и легкомыслии. Это не помешало ему пленить единственную дочь соседки, владелицы богатого имения Васильевского, нервную и романтически настроенную Марию Михайловну. Несмотря на протесты матери, происходившей из богатого дворянского рода Столыпиных, молодая красавица стала женой простого офицера и через год после свадьбы родила сына.

(Бабушка поэта Елизавета Алексеевна (по мужу Арсеньева) была родной сестрой Д.А.Столыпина, внук которого Председатель кабинета министров П. А. Столыпин приходился таким образом троюродным братом Михаилу Юрьевичу Лермонтову).

В марте 1815 года бабушка перевезла дочь с внуком в свое любимое имение Тарханы в Пензенском уезде. Отца Михаил видел редко: во-первых, Юрий Петрович служил, поэтому не мог безвылазно проживать в имении, а во-вторых, у него откровенно не складывались отношения с тещей.

А через два года неожиданно заболела и вскоре умерла Мария Михайловна, оставив сыну о себе лишь смутные воспоминания о чем-то воздушном с нежным голосом и руками. Властная и жесткая, хозяйка Тархан Елизавета Алексеевна, едва ли не на похоронах поссорилась окончательно с зятем, и он уже на девятый день после смерти жены вынужден был уехать, чтобы

сохранить за сыном право наследования Тархан (4081 десятин земельных угодий и 496 крестьянских душ).

Маленький Михаил разрывался между бабушкой и отцом, который лишь изредка появлялся в доме Арсеньевой. Всю жизнь Михаил старался следовать наказу отца, хотя это далеко не всегда получалось:

*«...ты одарен способностями ума, – не пренебрегай ими... это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу! ... ты имеешь, мой сын, доброе сердце, – не ожесточай его даже и самую несправедливостью и неблагодарностью людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презираемые тобою пороки. Верь, что истинная, нелицемерная любовь к Богу, к ближнему есть единственное средство жить и умереть спокойно».*

Будущий поэт фактически остался на руках у бабушки, которая обожала внука до безумия и ни в чем ему никогда не отказывала. Наоборот, обеспечила великолепное домашнее образование, приглашая лучших наставников и учителей. Михаила учили грек, швейцарец, француз, причем последний сумел внушить ему глубокий интерес и уважение к «герою дивному» и «мужу рока». Француза сменил англичанин, познакомивший Лермонтова с английской литературой, в частности с Байроном, который сыграл в его творчестве такую большую роль.

Михаил действительно был чрезвычайно одаренным ребенком, поскольку самостоятельно овладел основами живописи (впоследствии был неплохим художником, хотя и не любил выставлять этот свой талант напоказ), и очень любил... математику. Элементы высшей математики, аналитическая геометрия, начала дифференциального и интегрального исчисления увлекали Лермонтова в течение всей его жизни. Он всегда возил с собой учебник математики французского автора Безу. Но и об этом увлечении мало кто знал, а большинство просто не догадывалось.

Трижды – в 1818, 1820 и 1825 годах бабушка возила внука на Кавказские минеральные воды, в Горячеводск (впоследствии переименованный в Пятигорск). – отдохнуть и повидаться с родственниками.

*«Синие горы Кавказа, приветствую вас! – писал он в 1832 году, – вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе...»*

В 1825 году в Горячеводске Лермонтов впервые влюбился. Во всяком случае, сам он, спустя десять лет, записал в дневнике:

*«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Я её видел там. Я не помню, хороша была она или нет. Но её образ и теперь ещё хранится в голове моей».*

Обратите внимание: не в сердце – в голове. И впоследствии большая часть любовных увлечений Лермонтова будет также «головного происхождения», иначе никак нельзя объяснить их последующего скрупулезного разбора и анализа в письменном виде. Странно? Странно, конечно, но только не для мечтателя-меланхолика с талантом поэта и математическим складом ума.

В начале декабря 1825 года до Тархан дошла весть о том, что 19 ноября в Таганроге умер Александр I, потом – о событиях на Сенатской площади. Известия о восстании в Петербурге

взволновали Елизавету Алексеевну, поскольку оба ее брата Столыпиных – генерал и сенатор – были достаточно близки с заговорщиками. Правда, сенатор А.А.Столыпин умер в мае 1825 года, но во время следствия по делу о декабристах Н. А. Бестужев, со слов К. Ф. Рылеева, показал, что покойный сенатор А. А. Столыпин *«одобрял общество и потому верно бы действовал в нынешних обстоятельствах вместе с ним».*

Лермонтов услышал о декабристах, когда ему было одиннадцать лет. Так что в отроческие годы ему были хорошо знакомы и дороги имена Пестеля, Рылеева, Грибоедова и Кюхельбекера.

В 1828 году Елизавета Алексеевна привезла внука в Москву, где он был зачислен полупансионером в четвертый класс Московского университетского благородного пансиона и начал уже серьезно писать стихи: поэмы «Черкесы» и «Кавказский пленник» – явное подражание Пушкину. Именно к 1828 году сам Лермонтов относит начало своей поэтической деятельности. Позднее, в 1830 году он записал:

*«Когда я начал марать стихи в 1828 году, я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их, они ещё теперь у меня».*

В декабре того же года Лермонтов был успешно переведен в пятый класс и за прилежное отношение к занятиям получил два приза: картину и книгу.

В Благородном пансионе Лермонтов с увлечением участвовал в создании рукописных журналов, а в одном из них («Утренняя Заря») даже был главным редактором. Именно в нем он опубликовал свою поэму «Индианка». Известную нам, увы, только по названию.

В 1830 году Пансион преобразовывается в гимназию, и Лермонтов оставил его. Он поступил в Московский университет на нравственно-политическое отделение, где два года обучался вместе с В. Г. Белинским, А. И. Герценом, Н. П. Огаревым, уже тогда влиявшими на общий идейный уровень студенчества. Возможно, большинство студентов и подпали под это влияние, но только не Лермонтов. Он, как всегда, жил своей собственной жизнью, волочился за барышнями (без особого успеха), писал стихи и начинал писать прозу.

Уважения к профессорам студент Лермонтов также не испытывал, и в результате одной наиболее дерзкой выходки был «завален» на всех экзаменах чохом, хотя, вне всякого сомнения, был одареннее и образованнее большинства своих сокурсников. Ему «милостиво» предложили остаться на второй год; Лермонтов ответил желчным отказом и убедил бабушку переехать в Петербург.

Увы, в петербургском университете ему не согласились зачесть двухлетнего обучения в Москве и предложили поступить на первый курс. Еще один удар по самолюбию, после которого Лермонтов окончательно поставил крест на светской карьере.

Волей или неволей, Лермонтов поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой *«провел два страшных года»*, заполненных военной муштрой, сначала в звании унтер-офицера, а затем юнкера. а после ее окончания в звании корнета был зачислен в лейб-гвардии Гусарский полк, стоявший в Царском Селе под Петербургом, однако много времени проводил в Петербурге.

Интересно, что почти в то же время в эту же школу поступил его будущий соперник на роковой дуэли Н. С. Мартынов, который описывал Лермонтова в своих записках как высокообразованного и начитанного человека, своим воззрением далеко обогнавшего сверстников. В то же время одна из родственниц Михаила Юрьевича писала ему:

*«...к несчастью, я вас знаю слишком хорошо, чтобы быть спокойной, я знаю, что вы способны резаться с первым встречным из-за первой глупости – фи! Это стыд; вы никогда не будете счастливы с таким отвратительным характером».*

Справедливости ради стоит отметить, что когда Лермонтов хотел, он мог быть общительным и веселым, но чаще бывал замкнутым, желчным, язвительным и мрачно-задумчивым. Один из современников оставил нам такое его описание:

*«...во всей его внешности было что-то злое и трагическое. Какой-то недоброй и сумрачной силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и недвижно-темных глаз».*

Трудно определить, где тут характер, а где – поза. Правда, в отличие от Пушкина, Лермонтов был весьма далек от царского двора, никогда не имел никакого придворного чина и не писал оскорбительных эпиграмм случайным людям, но высокомерные насмешки и дерзости по отношению к людям знакомым позволял себе частенько. При этом он не делал разницы между мужчинами и женщинами, да к тому же был весьма и весьма злопамятным.

Одно лето он проводил в подмосковном имении брата бабушки, Столыпина. Недалеко жили его московские знакомые барышни, и Лермонтов без памяти влюбился в черноокую красавицу Екатерину Сушкову. Они были ровесниками, но Сушкова уже считалась барышней на выданье, а Лермонтов – едва вышедшим из гимназии мальчишкой. Разумеется, красавица не приняла всерьез его неловкие объяснения, предлагая в ответ поиграть в волан или прогуляться.

В записках Сушковой Лермонтов рисуется невзрачным, неуклюжим, косолапым мальчиком, с красными, но умными выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой. Кокетничая с Лермонтовым, Сушкова в то же время бессознательно над ним издевалась. Когда они встретились вновь при совершенно иной обстановке, Лермонтов отомстил Сушковой очень зло и жестоко. Пожалуй, даже слишком жестоко.

Любопытно, что до встречи с Сушковой Лермонтов в четырнадцать лет уже влюбился – тоже без памяти – в другую свою ровесницу. В 1828 году в Москве произошло знакомство с семьей Лопухиных, где было три дочери. Варвара Лопухина на всю жизнь стала сердечной мукой Лермонтова, хотя проявлялось это весьма своеобразно.

Как писал в своих воспоминаниях близкий родственник и друг Лермонтова Аким Павлович Шан-Гирей, *«...Варенька была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная... Она нравилась многим: тонкие черты лица, большие задумчивые глаза, в омуте которых можно было утонуть, и взгляд, ничего общего не имевший с томным... но такой манящий...»*

Этот образ стал для Лермонтова эталонным. И возникает во многих стихах, иногда почти неотличимых друг от друга, хотя посвящены даже не Лопухиной, а двум другим женщинам:

*Она не гордой красотой  
Прельщает юношей живых,  
Она не водит за собою  
Толпу вздыхателей немых...  
Однако все ее движенья,  
Улыбки, речи и черты  
Так полны жизни, вдохновенья,  
Так полны чудной простоты.  
\*\*\**

*Она поет – и звуки тают,  
Как поцелуи на устах,  
Глядит – и небеса играют  
В ее божественных глазах;*

*Идет ли – все ее движенья,  
Иль молвит слово – все черты  
Так полны чувства, выраженья,  
Так полны дивной простоты.*

А вот это стихотворение принадлежит перу Александра Сергеевича Пушкина. Написано в мае 1832 года в альбом графине Завадовской. То есть примерно в то время, когда Лермонтов закончил военное обучение и стал появляться в свете.

*Всё в ней гармония, всё диво,  
Всё выше мира и страстей;  
Она покоится стыдливо  
В красе торжественной своей;  
Она кругом себя взирает:  
Ей нет соперниц, нет подруг;  
Красавиц наших бледный круг  
В ее сияньи исчезает...*

Честно говоря, особой разницы между тремя творениями не вижу. Два первых – просто близнецы, появившиеся явно под влиянием третьего. Слог, размер, стиль – все совпадает. Только Пушкин писал такие стихи в альбомы светских красавиц, а Лермонтов – пытался публиковать. Понятно, что без особого успеха.

В это время Лермонтов вел очень бурный светский образ жизни, блистал в гостиных, сводил с ума женщин своей «холодной загадочностью». Не выдержала даже та самая Катенька Сушкова, которая когда-то посмеялась над нескладным мальчишкой. Мишель настолько вскружил ей голову, что она... сама призналась ему в любви.

Поступок весьма романтический... в романах. В жизни же мадемуазель Сушкова нанесла серьезный урон своей чести и репутации, поскольку Лермонтов ответил ей унижительной и грубой насмешкой, не забыв припомнить детские обиды. Скандал произошел нешуточный, а за Лермонтовым прочно закрепилась репутация «рокового мужчины».

А как же любовь всей его жизни Варенька Лопухина? А никак. Светская жизнь – сама по себе, любовь к Вареньке – сама по себе, причем со значительными периодами полного охлаждения, когда бедная девушка решительно не знала, что ей делать. То она получает письмо с чудесными стихами, то до нее доходят слухи (весьма правдивые) о бурном романе Мишеля с дочерью драматурга Федора Иванова Натальей. Поэту искренне казалось, что он, наконец, нашел истинное счастье. А потом новая любовь померкла, вернулись былые чувства к Вареньке и заодно... ревность к окружающим ее молодым людям. Напомню, что Лопухина жила в Москве. А Лермонтов – в Петербурге. Так что это было тем, что сейчас назвали бы виртуальным романом.

Немудрено, что Лермонтов и Лопухина плохо понимали друг друга. Он воспринимал ее то как сестру, то как возлюбленную, причем угадать как именно это будет в очередной раз было просто невозможно. Варенька была в полной растерянности, поэт-гусар, похоже, не мог дать себе отчета, как же он к ней относится.

В порыве ревности и обиды (придуманных им самим) Лермонтов писал:

*Я не унижусь пред тобою:  
Ни твой привет, ни твой укор  
Не властны над моей душою,  
Знай, мы чужие с этих пор.*

А через несколько дней – поворот на сто восемьдесят градусов:

*О, вымоли ее прощенье.  
Пади, пади, к ее ногам.  
Не то – ты приготовишь сам.  
Свой ад, отвергнув примиренье.*

Сильное чувство оформилось у Лермонтова лишь тогда, когда он узнал о том, что Варенька вышла замуж за Н. И. Бахметьева. Это было воспринято им, как предательство и эхом отзывалось потом практически в каждом произведении, посвященном реальной жизни.

Это произошло в 1835 году и совпало с первым появлением произведений Лермонтова в печати, правда, без его ведома. Один из его товарищей отнес повесть «Хаджи-Абрек» в журнал «Библиотека для Чтения». Лермонтов остался этим очень недоволен, и хотя повесть была благосклонно принята читателями, долго еще не хотел печатать своих стихов, предпочитая числиться «светским поэтом».

Критические наблюдения этой поры над жизнью аристократического общества легли в основу драмы «Маскарад», которую Михаил Лермонтов переделывал несколько раз, но так и не добился разрешения цензуры на постановку. Это тоже не улучшило ни его характера, ни его отношения к окружающим.

А. Е. Баратынский, который познакомился с поэтом перед самой его гибелью, писал жене:

*«...человек, без сомнения, с большим талантом, но мне морально не понравился. Что-то нерадушиное, холодное».*

К началу 1837 года у Михаила Лермонтова не было литературного статуса: многочисленные стихотворения (среди них признанные в будущем шедеврами «Ангел», «Парус», «Русалка», «Умиравший гладиатор», поэма «Боярин Орша» в печать не отданы, романы не закончены, связей в литературном мире не завязалось. И тут произошла дуэль на Черной Речке...

Творчество Лермонтова волею обстоятельств само по себе делится на два этапа: до 1837 года и после него. Разделительной вехой служит стихотворение «Смерть поэта», разошедшееся в списках по всей России и круто изменившее судьбу Лермонтова. Михаил Юрьевич был болен, когда стало известно о роковой дуэли. Дошли до него и разные толки, особенно дамские в защиту Дантеса, по мнению которых «Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собою».

Женская логика иногда действительно способна довести до исступления кого угодно, а не только впечатлительного поэта. Негодование Лермонтов мгновенно выплеснул на бумагу, причем сначала закончил стихотворение: «И на устах его печать». Именно в таком виде оно быстро распространилось в списках, вызвало бурю восторгов у читателей, и некоторый холодок в высшем петербургском свете, где рассматривали участников дуэли менее пристрастно. Зато автор стихотворения «На смерть поэта» мгновенно стал героем дня. Подчеркну – речь идет о первом варианте, за который наказать поэта никто бы не мог. Не за что.

Но когда близкий родственник, Столыпин, стал при Лермонтове оправдывать Дантеса, доказывая, что иначе он поступить и не мог, Лермонтов моментально прервал разговор и в порыве гнева написал страстный и не слишком внятный вызов «надменным потомкам» (последние 16 стихов). Именно эти шестнадцать строчек и вызвали высочайшее негодование: их справедливо посчитали «воззванием к революции».

(Который раз читаю и перечитываю первые четыре строки из шестнадцати крамольных, и так и не могу найти в них смысла. Невнятный набор трескучих фраз. Перечитайте сами и попробуйте прозой изложить ход мыслей автора. Я – бессильна.

*«А вы, надменные потомки  
Известной подлостью прославленных отцов,  
Пятою рабскою поправиши обломки  
Игрою счастья обиженных родов!»*)

И тут сам по себе напрашивается вопрос: не будь дуэли на Черной Речке, стал ли бы Лермонтов знаменитым поэтом? Не будь крамольной приписки и «жестоких гонений на поэта» после нее, заметил ли бы кто-нибудь в России его собственную гибель на дуэли три года спустя?

«Высочайшая реакция» на стихотворение последовала немедленно: по приказу самого царя за распространение последних 16 строк стихотворения «Смерть поэта» Лермонтов был арестован, а затем переведён в Нижегородский драгунский полк, находившийся в Грузии. Там он (sic!) встречался с опальными декабристами; познакомился с грузинской интеллигенцией, живо интересовался фольклором горских народов, их бытом, традициями и языком. Кавказские темы заняли прочное место в творчестве Лермонтова – писателя и художника.

Очень грустно развенчивать еще одну легенду о великом поэте, но в этот неполный год Лермонтов на Кавказе не столько служил, сколько «проходил лечение» в Пятигорске и Кисловодске, сильно простудившись по дороге из Петербурга на Кавказ. Благо средства позволяли проводить время на целебных водах в окружении блестящего общества. А когда это общество наскучило – пришло дозволение вернуться в столицу.

Ссылка длилась всего несколько месяцев, поскольку бабушка задействовала все свои многочисленные связи и все свое влияние, чтобы добиться прощения. В петербургский «свет», Лермонтов вернулся героем и вскоре, под воздействием кавказских впечатлений, создал «Мцыри» и «Демона», бесспорно оригинальные и талантливые произведения, принесшие ему настоящую славу.

Вообще-то Лермонтов после хлопот бабушки и В. А. Жуковского был переведён в Гродненский гусарский полк, стоявший под Новгородом, но по пути к месту новой службы поэт задержался в столице, а затем 9 апреля 1838 года возвращен в лейб-гвардии Гусарский полк. На этом «жестокие гонения» закончились.

Ходили слухи, что большой почитательницей творчества Лермонтова была императрица Александра Федоровна, которая и заступалась за него бесконечно перед августейшим супругом. Очень может быть, потому что наказание, которое понес поэт, совершенно не соответствует его проступку. За призыв к свержению трона можно было угодить в Сибирь лет эдак на десять.

Поэт отблагодарил свою высокую покровительницу по-своему: на новогоднем балет-маскараде позволил себе дерзкую выходку против императрицы и ее придворной дамы. Он «не узнал» высокую персону и обошелся с ней едва ли не как с дамой полусвета. Так нарушать этикет не позволялось никому.

Удивительно, но Лермонтову и это сошло с рук. Поэт по-прежнему посещал великосветские гостиные, писал стихи, публиковал их, в свойственной ему язвительно-мрачной манере волочился за хорошенькими женщинами...

Два года Лермонтов жил в Петербурге весьма насыщенной светской жизнью – посещал литературные салоны семьи Карамзиных, В. Одоевского, бывал на балах и приемах у аристократии и непрестанно сетовал на то, что «...высший свет становится мне более чем несносным, потому что нигде ведь нет столько низкого и смешного, как там», – писал он одной из московских знакомых.

Собственно, можно об этом и не рассказывать, достаточно перечитать повесть Лермонтова «Герой нашего времени». Автор себе нисколько не польстил, во всяком случае, симпатии его лирический герой мог вызвать только у экзальтированных барышень.

В одной светских гостиных, у графини де Лаваль, два месяца спустя после происшествия на балу-маскараде произошла ссора Лермонтова с Эрнестом де Барантом, сыном французского посланника в России. Де Барант обвинил Лермонтова в том, что он дурно отозвался о нем в беседе с одной знакомой им обоим особой и что он занимается распространением сплетен.

– Ваше поведение смешно и дерзко, господин де Барант, – холодно отозвался Лермонтов.

– Во Франции я бы знал, как обойтись с вами после таких слов! – вскипел де Барант.

– С чего вы взяли, что в России иные понятия о чести, и что мы позволяем себя оскорблять? – отпарировал Лермонтов.

– Сударь, вы мне ответите за эти слова!

– С превеликим удовольствием.

– Я вас вызываю!

– Выбор оружия за вами.

Француз выбрал шпаги, но затем было решено драться на них до первой крови, а затем стреляться. Дуэль произошла 18 февраля 1840 года в полдень за Черной Речкой (!).

Только чудом жизнь Лермонтова не оборвалась, иначе можно себе представить, как это подали бы «патриоты»: французы злонамеренно и безнаказанно убивают цвет русской поэзии!

Увы, Лермонтов был весьма неважным фехтовальщиком (в отличие, кстати, от Пушкина). При первом же выпаде клинок его шпаги переломился, а искусно владевший этим оружием де Барант поскользнулся и лишь слегка задел грудь своего противника по касательной.

С пистолетами вышло не лучше. Стрелявший первым де Барант промахнулся, а Лермонтов выстрелил в воздух. Чем дело и завершилось... казалось бы. Противники пожали друг другу руки и вполне мирно разъехались.

Надо сказать, что Николай I вообще относился к дуэлям с отвращением. Как только о поединке стало известно, Лермонтов был арестован и посажен в Арсенальную гауптвахту. Де Барант вскоре покинул Россию и вернулся во Францию. А Лермонтов вторично отправился в ссылку на Кавказ. Чин поручика ему сохранили, но определили в действующую армию.

Лермонтов оказался храбрым офицером, командование представляло его к золотой сабле, дважды – к ордену, но Николай I все представления отклонил. По-видимому, считал, что поэт еще не до конца искупил свою вину, а может быть, просто не мог справиться с личной неприязнью. В конце концов, император был только человеком и ничто человеческое не было ему чуждо.

Одно только очевидно: не было никакого высочайшего повеления «организовать» очередную дуэль, чтобы погубить поэта. Не было никакого «второго стрелка в кустах», как бы ни старались это доказать некоторые биографы Лермонтова, чрезмерно увлекавшиеся криминалистикой. Был молодой человек с очень непростым характером, тяжело переживавший отказ государя признать его военные заслуги. И из-за этого цеплявшегося к самому ничтожному поводу для выплеска своего недовольства. Не было бы Мартынова – подвернулся бы другой, вопрос времени.

Немногие его друзья предвидели это. 20 мая 1840 года А. С. Хомяков пророчески писал Н. М. Языкову:

*«А вот еще жалко: Лермонтов отправлен на Кавказ за дуэль. Боюсь, не убили бы. Ведь пуля дура, а он с истинным талантом и как поэт, и как прозатор».*

Тем не менее, в январе следующего года Лермонтову удалось выхлопотать себе трехмесячный отпуск и разрешение провести его в Петербурге. Казалось бы, гроза прошла стороной:

в столице образованные люди зачитывались «Героем нашего времени», весь тираж повести был почти мгновенно раскуплен, дамы и девицы упивались стихотворениями «русского Байрона»...

Графиня Ростопчина впоследствии вспоминала:

*«Три-четыре месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять в этой дружественной обстановке; он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе, благодаря его неисчерпаемой веселости».*

Лермонтов, окончательно решившийся покончить с военной службой и заняться изданием журнала, подал «на высочайшее имя» прошение об отставке. Вдохновляло его и то, что отпуск продлили еще на месяц: он полагал, что коли дают отсрочку, так и отставку примут. А чтобы окончательно убедиться в своем безоблачном будущем, отправился... к той же гадалке, которая предсказала Пушкину «смерть от белого человека».

Задав ей вопрос, останется ли он в Петербурге, Лермонтов услышал:

*– В Петербурге тебе вообще больше не бывать, не бывать и отставки от службы, а ожидает тебя другая отставка, после коей уж ни о чем просить не станешь.*

И буквально на следующий день пришло предписание о возвращении на Кавказ.

Прощальный вечер проходил в доме Карамзиных, и все присутствовавшие утверждали, что Лермонтов был очень грустен, задумчив и беспрестанно говорил о неминуемой близкой смерти.

Это не помешало ему, впрочем, перед отъездом написать восемь (!) чрезвычайно язвительных стихов в адрес графа Бенкендорфа, как он полагал – его главного недоброжелателя. Не самый разумный поступок для офицера, должна заметить. Граф отреагировал, как бы сейчас сказали, «адекватно»: секретным приказом запретил Лермонтова допускать к собственно военным действиям. Карьеру в армии можно было считать законченной.

На Кавказ, впрочем, поэт не слишком торопился: по дороге туда заехал в Москву, где провел несколько недель, посещая родных и друзей. В кругу молодежи в ресторане встретил его тогда и немецкий поэт Фридрих Боденштедт – впоследствии лучший переводчик на немецкий Пушкина, Лермонтова, Тургенева.

Боденштедт оставил любопытные воспоминания о своих московских встречах с Лермонтовым.

*«...Мы были уже за шампанским. Снежная пена лилась через край стаканов, и через край лились из уст моих собеседников то плохие, то меткие остроты.*

*– А! Михаил Юрьевич! – вскричали двое-трое из моих собеседников при виде только что вошедшего молодого офицера.*

*Он приветствовал их коротким «здравствуйте», слегка потрепал Олсуфьева по плечу и обратился к князю (А. И. Васильчикову) со словами:*

*– Ну, как поживаешь, умник?*

*У вошедшего была гордая, непринужденная осанка, средний рост и замечательная гибкость движений. Гладкие, слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий*

*лоб. Большие, полные мысли глаза вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого человека.*

*Одет он был не в парадную форму; на шее небрежно повязан черный платок; военный сюртук не нов и не до верха застегнут, и из-под него виднелось ослепительной свежести белье. Эполет на нем не было.*

*Во время обеда я заметил, что Лермонтов не прятал под стол своих нежных, выхоленных рук. Отведав нескольких кушаний и осушив два стакана вина, он сделался очень разговорчив и, надо полагать, много острил, так как слова его были несколько раз прерываемы громким хохотом.*

*К сожалению, для меня его остроты оставались непонятными, так как он нарочно говорил по-русски и к тому же чрезвычайно скоро, а я в то время недостаточно хорошо понимал русский язык, чтобы следить за разговором.*

*Я заметил только, что остроты его часто переходили в личности; но, получив раза два меткий отпор от Олсуфьева, он счел за лучшее упражняться только над молодым князем.*

*Некоторое время тот добродушно переносил ипильки Лермонтова; но наконец и ему уже стало невмочь, и он с достоинством умерил его пыл, показав, что при всей ограниченности ума, сердце у него там же, где и у других людей.*

*Я уже знал и любил тогда Лермонтова по собранию его стихотворений, вышедшему в 1840 году, но в этот вечер он произвел на меня столь невыгодное впечатление, что у меня пропала всякая охота поближе сойтись с ним. Весь разговор, с самого его прихода, звенел у меня в ушах, как будто кто-нибудь скреб по стеклу...»*

До Кавказа Лермонтов в компании со своим родственником Александром Столыпным добирались долго – дороги были, мягко говоря, скверные. Едва приехав в Ставрополь, Лермонтов тут же испросил у начальства разрешения задержаться там «на несколько дней». А за это время успел загореться новой идеей: ехать не в Темир-Хан-Шуру (теперь – город Буйнакск), где находился его полк, а в Пятигорск.

Почему? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Не из-за того же, в конце концов, что случайный попутчик, оказавшийся вместе с ними на станции в крепости Георгиевская, перевозил прелести жизни в курортном Пятигорске, противопоставляя им трудности и опасности боевой жизни? Как будто Лермонтов сам этого не знал! И тем не менее...

Столыпин колебался: у них были и подорожная, и достаточно строгая инструкция, согласно которой Лермонтов должен был как можно скорее явиться в отряд. Поэт решил задачу очень просто – бросил монетку. Орел – ехать в отряд, решка – в Пятигорск. Полтинник упал решкою вверх...

Столыпин и Лермонтов прибыли в Пятигорск 13 мая 1841 года и прожили там два месяца до роковой дуэли Лермонтова с Мартыновым. А как же приказ явиться в полк, спросите вы. А очень просто: Лермонтов попросил разрешение остаться в Пятигорске до полного излечения от лихорадки и без особых проблем его получил.

Самодурство самодержавия – иначе не скажешь. Специально все подстроили, чтобы погубить молодого, талантливого поэта.

Дальнейшее хорошо известно. В Пятигорске как раз в это время находился отставной майор Мартынов, однокашник Лермонтова по военной школе. Они возобновили старое знакомство, хотя Николай Мартынов прекрасно помнил насмешки и колкости, которыми осыпал его Лермонтов в прежние времена. Осыпал, надо сказать, незаслуженно: Мартынов признавал поэтический и художественный талант Лермонтова и ничем не задевал его самолюбия.

Впрочем... Мартынов был высоким, красивым блондином, а Лермонтов, как известно, красавцем никогда не считался. Зато не считал нужным сдерживать свой непростой характер в отношениях с другими людьми. Сама их встреча была первым шагом к дуэли, хотя оба они об этом вряд ли догадывались.

К несчастью, военная карьера Мартынова не удалась: за полгода до роковой встречи в Пятигорске ему по не до конца выясненным причинам пришлось подать в отставку. А поскольку он всегда мечтал стать генералом, расстаться с этой мечтой оказалось очень трудно. Мартынов замкнулся, стал одеваться нарочито по-черкесски, на поясе всегда носил большой кинжал. Идеальная мишень для острот Лермонтова!

Да, но только Лермонтов был всего-навсего поручиком, а Мартынов – хоть и отставным, но майором. И вправе был требовать к себе определенного уважения со стороны младшего по чину. Увы, поэта такие мелочи никогда не заботили: он возобновил привычную ему манеру отношений с бывшим однокашником. Который, надо сказать, был достаточно терпелив.

До дуэли с Лермонтовым Мартынов вообще в поединках не участвовал, в скандальных историях замешан не был и меньше всего походил на бретера. Но вечером 13 июля 1841 года в зале дома генерала Верзилина Лермонтов, оживленно беседуя с дочерью хозяев Эмилией и... Львом Пушкиным, младшим братом великого поэта (!), посоветовал своей собеседнице «быть осторожнее с этим опасным горцем с большим кинжалом: он ведь и убить может». Он, разумеется, метил в Мартынова, который тоже находился в зале.

На беду звучавший до сих пор рояль замолк как раз в эту минуту и слова Лермонтова прозвучали более чем отчетливо. Шутки закончились – Мартынов вышел из себя и резко заявил:

– Я долго терпел оскорбления господина Лермонтова, но впредь этого делать не намерен!

Лермонтов... улыбнулся. Это стало последней каплей: Мартынов вызвал его на дуэль. То есть получается, что Михаил Юрьевич спровоцировал этот вызов единственно из-за своей чрезмерной любви к острому словцу. К тому же Мартынов был посредственным стрелком, а Лермонтов – отличным. В любом случае, дуэль стала неизбежной.

По-видимому, Лермонтов все-таки понял свою неправоту и попытался смягчить ситуацию, отказавшись от своего выстрела. К тому же, чем бы ни кончилась дуэль, будущее поэта было, мягко говоря, печальным: второй дуэли император ему бы никогда не простил.

Но Мартынов, боясь оказаться смешным в глазах окружающих, от примирения отказался. Именно это и ставит ему в вину большинство историков: отставной майор якобы твердо был намерен убить своего обидчика. Откуда взялась такая уверенность – непонятно. Но он был «просто Мартыновым», а не известным в России поэтом, посему и оказался обвиненным во всех смертных грехах.

Точные обстоятельства дуэли неизвестны до сих пор, но существует множество самых разнообразных версий. Бесспорно одно: Мартынов, вызвавший Лермонтова на дуэль, не мог демонстративно выстрелить в воздух, так как тогда поединок, по негласно действовавшему тогда дуэльному кодексу, считался бы недействительным: в воздух мог стрелять только вызывающий на дуэль. Так что выбора у Мартынова не было, только положиться на волю Божию.

Александр Скабичевский писал через некоторое время после трагедии:

*«Командовал Глебов... «Сходись!» – крикнул он. Мартынов пошел быстрыми шагами к барьеру, тщательно наводя пистолет. Лермонтов остался неподвижен. Взведя курок, он поднял пистолет дулом вверх и, помня наставления Столыпина, заслонился рукой и локтем, «по всем правилам опытного дуэлиста». «В эту минуту, – пишет князь Васильчиков, – я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом уже направленного на него пистолета». Вероятно, вид торопливо шедшего и целившегося в него Мартынова вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приняло презрительное*

*выражение, и он, все не трогаясь с места, вытянул руку кверху, по-прежнему кверху же направляя дуло пистолета. «Раз... Два... Три!» – командовал между тем Глебов. Мартынов уже стоял у барьера. «Я отлично помню, – рассказывал далее князь Васильчиков, – как Мартынов повернул пистолет курком в сторону...» В это время Столыпин крикнул: «Стреляйте! или я разведу вас!»... Выстрел раздался, и Лермонтов упал как подкошенный, не успев даже схватиться за больное место, как это обыкновенно делают ушибленные или раненые...»*

Лермонтов был убит, но... ни один из поэтов того времени не почтил памяти своего собрата хотя бы одной строкой. Лермонтов трагически погиб на дуэли, но сам же эту дуэль и спровоцировал. И, наконец, если бы наш великий поэт не манкировал своими служебными обязанностями и не разъезжал бы по курортам под предлогом «окончательного излечения от лихорадки», то и дуэли-то не было бы.

Этой – не было бы. Но – абсолютно в этом уверена – была бы другая. Лермонтов никогда не скрывал своей мечты «умереть с пулей в сердце», а вне театра военных действий встретить такую смерть довольно затруднительно. Нужно ее хорошенько поискать и самому создать для нее все условия.

Что, собственно, и произошло. 15 июня 1841 года Михаил Лермонтов был убит. Не «пал оклеветанный молвой», не был «невольником чести». Просто дал себя застрелить.

И дуэль в Пятигорске не была фатальной случайностью. Вдумайтесь: поэт погиб исключительно из-за своего тяжелого характера. Козни самодержавия тут совершенно не при чем. Повторю: не будь Лермонтов (как и Пушкин, впрочем) признанным стихотворцем, никто в России дуэль и не заметил бы. Мало ли сумасбродных молодых дворян расставалось с жизнью на ничем не оправданных дуэлях?

Похороны Лермонтова, несмотря на все хлопоты друзей, не могли быть совершены по церковному обряду. Официальное сообщение об его смерти гласило:

*«15 июня, около 5 часов вечера, разразилась ужасная буря с громом и молнией; в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов».*

По словам князя Васильчикова, в Петербурге, в высшем обществе, смерть поэта встретили словами: «туда ему и дорога».

Михаил Лермонтов был похоронен на городском кладбище в Пятигорске. Позднее гроб с телом М. Ю. Лермонтова был перевезён в село Тарханы и погребён в семейном склепе Арсеньевых.

В 1899 г. в Пятигорске открыт памятник Лермонтову, воздвигнутый по всероссийской подписке.

## Одинокий Гоголь

Он родился в марте, и если бы тогда было модно определять судьбу человека по знакам зодиака, многое в его характере было бы ясно: Рыба. А значит, натура меланхоличная и холодная, склонная к комфорту и избегающая потрясений, ускользающая, меняющаяся, загадочная, непредсказуемая, но безумно талантливая.

Когда первый крик младенца огласил стены низенькой малороссийской хатки с глиняным полом и соломенной крышей, и мать, и отца волновало только одно: будет ли ребенок жить? Ибо два первых сына умерли, едва родившись. Мать, Мария Ивановна, забеременев в третий раз, ездила в соседнюю Диканьку молиться иконе Николая Чудотворца, которая даровала жизнь обреченным. В честь святого и нарекли мальчика, когда стало ясно – выживет.

Кстати, таинственность, вещие сны, роковые приметы и прочее, чем так увлекался Николай Васильевич Гоголь и чего так много в его произведениях, начались с его родителей. Когда его будущей матери от роду был всего лишь... один год, его будущий отец, Василий Афанасьевич, объявил в четырнадцать лет, что знает свою будущую жену. Во сне, который приснился ему, явилась Богородица в церкви, а у алтаря лежал младенец, завернутый в белые одежды. Богородица указала на нее и произнесла: «Вот твоя суженая».

Сон этот приснился мальчику, когда он вместе с родителями ездил на богомолье. На обратном пути заночевали на хуторе у соседей Гоголей – Косяровских. Их любимая доченька Машенька и оказалась тем самым младенцем, которого Васюта видел во сне. Как ни дивились родные, как ни отговаривали – мальчик был тверд в своем убеждении: «Это она!».

Тринадцать лет он исправно навещал соседей, играл с Машенькой в куклы, читал ей книги, сочинял стихи и слышать не желал ни о каких других невестах. А едва Маше исполнилось четырнадцать лет, официально предложил руку и сердце. После помолвки хотели год подождать – слишком уж юной была невеста даже по тем временам. Но...

Но не прошло и месяца после помолвки, как Василий Афанасьевич опять увидел сон. Только на месте младенца у алтаря стояла уже взрослая Маша в подвенечном платье.

– *То указание свыше!* – возбужденно доказывал Василий Афанасьевич будущим тестю и теще. – *Того хочет Бог!*

Решили действительно Бога не гневить и свадьбу сыграть немедленно. Новобрачный не дождался даже окончания скромного свадебного пира – умчал свое сокровище на тройке к себе, на хутор Купчинский...

Через три с половиной года родился у них Николай Гоголь.

Гороскоп гороскопом, но и без расположения небесных светил наследственность у мальчика была своеобразной. До нашего времени дошло несколько записок отца писателя – Василия Гоголя, писанных им своей четырнадцатилетней невесте:

*«Ах! Когда бы вы знали, какая горесть снедает меня! Я не могу уже скрыть своей печали. Пожалейте, простите! Удостоите меня одной строчки, и я благополучен».*

*«Я должен прикрывать видом веселости сильную печаль, происходящую от страшных воображений... Слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает мое сердце».*

С чего отчаяние? От чего несчастье? В нескольких верстах от него мирно подрастала любимая им девочка, не ведавшая соблазнов и искушений. Малороссийская природа должна была утишать печали, а не раздувать их – не море ведь и не скалистые горы! Ан нет! Мечтательность, мнительность, меланхолия, нежелание ждать – все это важнейшие черты характера Василия Гоголя. И все их унаследовал его сын. Унаследовал и довел практически до абсолюта.

Но он унаследовал не только это. Свидетельствует мать Гоголя Мария Ивановна:

*«Муж мой писал много стихов и комедий в стихах на русском и малороссийском языках, но сын мой все выпросил у меня, надеясь напечатать. Он тогда был очень молод, и, верно, все сожжено... и у меня не осталось ничего на бумаге, только немного в памяти...»*

Довольно жестокое обращение с духовным наследством отца. Но, как и все крайне сентиментальные люди, Николай Васильевич бывал столь же крайне жесток, причем с раннего детства. Как-то родители оставили его дома, а все прочие домочадцы улеглись спать. Никоша – так называли Гоголя в детстве – сидел на диване в темной гостиной и вдруг... вдруг раздалось слабое мяуканье кошки. В абсолютной тишине этот звук напугал Никошу до полусмерти.

Кошка жестоко поплатилась: в ту же ночь Никоша отнес ее по ночному парку (не побоялся ни темноты, ни русалок, ни леших, о которых ему часто рассказывали!) к пруду и, когда из-за туч выглянула луна, бросил кошку в воду, в лунный свет. Она сразу не тонула, она пыталась выплыть, мяукала, но он схватил палку и отталкивал, отталкивал несчастное животное от берега, пока вода не сомкнулась над жертвой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.